

КРИС БЛЭР



ДЕМОН МОИХ СНОВ

нарисую и придёт

18+

Kris Bler

**Демон моих снов.
Нарисую и придёт**

<https://litres.ru/74200127>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она касается бумаги — и мир даёт трещину.
Она ведёт карандаш — и он вступает в её реальность.
Тысяча лет тишины рушится об один набросок.
Он ждал. Она искала себя.
Их любовь — как пламя.
Их встреча — как плата.
Она думает, что рисует портрет.
Но она рисует дверь.
И кто-то уже стоит за ней.
Каждый рисунок забирает что-то: сны, память, себя.
Он знает. И всё равно ждал.
Тысяча лет одиночества — слишком долго, чтобы отступить.
Один рисунок — слишком мало, чтобы он захотел уйти.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	30
Глава 4	40
Глава 5	49
Глава 6	58
Глава 7	75
Глава 8	90
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Kris Bler

Демон моих снов.

Нарисую и придёт

Глава 1

Пролог

В полночь снег забыл, как падать.

Снежинки застыли в воздухе — зависли, будто мир разучился дышать, будто само время забыло, куда ему течь. Ни одна не коснулась земли. Ни одна не шелохнулась. Тишина стояла такая, что звон в ушах казался чужим голосом.

Он пришёл без предупреждения.

Не из леса. Не из тьмы. Он просто появился — там, где улица сворачивает к старой церкви. Воздух вокруг него дрожал, как над раскалённым камнем. Снежинки, висевшие в тишине, расступались — не хотели касаться. Или не могли.

Он был высок. Слишком высок для человека. Плечи развёрнуты, походка тяжёлая, как у того, кто нёс на себе вес, несоизмеримый с жизнью. За спиной угадывались крылья — не белые, не чёрные. Сотканые из пепла и теней, из воспоминаний о чём-то, что сгорело очень давно. Каждое перо на конце тлело — не светилось, а именно тлело, как уголёк, ко-

торый вот-вот погаснет. От крыльев тянуло холодом — не уличным, не зимним, а тем, что селится в костях и остаётся там навсегда.

Он шёл медленно. Не крался. Не торопился. Земля под ним стонала — тихо, глухо, обречённо. Как стонет старый мост, по которому прошла слишком тяжёлая тень.

Город спал, но чувствовал его. Собаки выли, захлёбываясь лаем. Дети просыпались с криком, хотя ещё не понимали, отчего плачут. Взрослые замирали в постелях, прижимали ладони к груди и не могли объяснить, почему вдруг стало так холодно.

Он не смотрел по сторонам. Не оглядывался. Не проверял, идёт ли кто следом. Он знал, куда идёт. Знал с той секунды, как переступил грань. Его вело не зрение — что-то другое. Что-то, что спало десятилетиями, а теперь проснулось и натянулось, как струна.

На краю города, в маленьком доме с покосившейся трубой, горел одинокий свет.

Она стояла у окна. Смотрела на застывший снег. Светлые, почти белые волосы рассыпались по плечам. Пальцы касались холодного стекла. Она не знала, что он близко. Не знала, что он уже здесь — прошёл через лес, через город, через самую реальность. Но сердце её колотилось так, будто кто-то огромный, древний стоял прямо за спиной.

И она ждала. Сама не зная, чего. Сама не зная, кого. Он остановился у её двери.

Не постучал. Не толкнул. Просто встал — и тишина вокруг сгустилась до предела. Снег, висевший в воздухе, дрогнул. Одна снежинка — самая смелая или самая обречённая — всё же упала. Опустилась на его плечо и растаяла. Не от тепла. От того, что даже холод не мог существовать рядом с ним.

Он поднял голову и посмотрел на окно. Там, за стеклом, горел свет. Слабый, дрожащий — свеча почти догорела.

И когда этот свет дрогнул и погас, когда тишина стала такой глубокой, что в ней можно было утонуть, — она поняла.

Он здесь.

Глава 1

Морана проснулась в холодном поту, ещё до того, как за окном прокричал первый петух. В мансарде было темно, только слабый свет луны пробивался сквозь узкое окно, прорезанное в толще старой каменной стены. Она села на постели, прижимая ладонь к груди, где всё ещё колотилось сердце — слишком быстро, слишком громко, будто кто-то только что звал её по имени и не успел замолчать.

Он опять снился.

Она не помнила лица. Но помнила голос — глубокий, низкий. Он коснулся её затылка холодом зимнего ветра, проникая не в уши, а куда-то глубже: в позвоночник, в самый низ живота, где рождается непонятная, беспричинная дрожь. Он произнёс её имя — тихо, почти невесомо.

— Мора...

Она повторила это слово беззвучно, одними губами, и собственный голос показался чужим. Губы обожгло — будто она прикоснулась к тому, чего не должно быть в этом мире.

В мансарде пахло сыростью и сухими травами, которые мать развешивала под потолком. Узкая кровать была застелена старым одеялом, в углу стоял стол, заваленный перга-ментами, кусками угля и огарками свечей. Стены — неров-ные, кое-где в трещинах, через которые по ночам проби-вался ветер. Это был её мир — тесный, холодный, но свой. Единственное место, где она могла рисовать то, что не смела показать другим. То, что приходило к ней во сне и не хотело уходить на рассвете.

Она встала, накинула льняную рубаху, подошла к столу. Ей был двадцать один год, но в это утро она чувствовала себя вдвое старше — усталость от бессонных ночей залегла под глазами, сделала лицо бледным, почти прозрачным. Свет-лые, почти белые волосы — густые, непослушные — рассы-пались по плечам, спутанные после сна. Она не заплетала их на ночь, и теперь они падали на лицо, закрывая голубые гла-за — холодноватого оттенка, какой бывает у зимнего неба перед снегопадом.

Одевалась она просто: льняная рубаха до середины бедра, поверх неё — старенькое серое платье из грубой шерсти, за-тёртое на локтях и подоле. Единственным украшением слу-жил тонкий кожаный шнурок на шее с маленьким серебря-ным кулоном — отцовский подарок, с которым она не рас-

ставалась. Пальцы были тонкими, с вьёвшейся в подушечки угольной пылью — сколько ни мой, до конца не отмывалась.

Уголь лежал там, где она оставила его вчера. Он был холодным — всегда холодным, — но её пальцы всё равно тянулись к нему. Это была единственная нить, связывающая её с теми снами. Она не должна была рисовать. Каждое утро она давала себе слово: «Не рисуй это. Спрячь. Выброси». Но пальцы сами тянулись к шершавой поверхности пергамента. Точно кто-то невидимый вкладывал уголь в её руку и ждал.

Она начала водить по бумаге. Сначала — пальцы, сжимающие край обрыва. Тонкие, почти прозрачные, с тёмными прожилками. Она не знала, чьи это пальцы, но рисовала их так, будто держала в своих. Дальше пошёл изгиб спины — не крыло, а сама спина, с лопатками, которые напряглись. Человек готовился к прыжку. В бездну. Или к полёту. Она не знала. Она просто рисовала то, что видела во сне. И только потом добавила тени — они падали не вниз, а вверх, словно свет шёл из-под земли. Тени тянулись к потолку, извивались, и на концах их были едва заметные искры — они почти гасли, но не гасли. Кто-то дышал на них.

Она рисовала его уже месяц. Каждую ночь он являлся ей — то в поле, то на пустой дороге, то прямо у её кровати. Она не знала, кто он. Не знала, существует ли он на самом деле. Но каждое утро просыпалась с дрожью в пальцах и снова брала в руки уголь. Он приказывал ей запечатлеть себя — и она не могла сопротивляться.

Внизу послышался голос матери — тихий, с надрывным кашлем:

— Морана... иди завтракать... пока хлеб тёплый...

Морана вздрогнула, быстро свернула пергамент и сунула его под половицу, туда, где лежали десятки таких же рисунков. Десятки попыток нарисовать того, кого она не могла вспомнить. Она вытерла пальцы о рубаху, поправила спутанные светлые волосы и спустилась вниз, стараясь ступать бесшумно.

В маленькой комнате пахло травами, дымом и чуть пригоревшей кашей. Мать, Элинора, сидела у очага, укутанная в старый шерстяной платок. Её руки, обожжённые копотью и сухими стеблями, дрожали, когда она помешивала кашу в чугунке. Она цеплялась за ложку, как за единственное, что ещё держало её в этом мире. Она выглядела старше своих лет — болезнь вытягивала из неё силы.

— Опять не спала, — сказала она, не глядя на дочь. — Тени под глазами.

Она всегда говорила это, не глядя. Боялась увидеть в лице дочери то, что напомнило бы ей об отце.

— Я спала, — ответила Морана. — Просто сон дурной.

— Сны от лукавого, — пробормотала мать и замолчала.

Морана села за стол, взяла кусок хлеба, но есть не могла. Хлеб был тёплым, но тепло не проходило внутрь — останавливалось где-то на губах и гасло. Она смотрела в окно — се-

рое, затянутое тучами утро, крыши домов внизу, колокольню старой церкви, возвышавшуюся над городом тёмным каменным пальцем. Где-то там, за стенами, люди жили своей жизнью, не зная, что её сны полны теней.

Дверь скрипнула, и в комнату ворвалась Лив — рыжая, с веснушками на носу, с корзиной яиц в руках. Она всегда врывалась — не входила, а именно врывалась, будто боялась, что если замешкается на пороге, холод и голод просочатся внутрь раньше неё. Ей было всего шестнадцать, но в зелёных глазах уже теплилась та странная мудрость, которая приходит к тем, кто рано увидел нужду.

— Мама! — крикнула она с порога. — Я принесла яйца. Выменяла у соседки Марты за твой настой от кашля. Она сказала, если ещё понадобится — заходи, у неё куры несутся каждый день.

Она поставила корзину на лавку и подошла к Моране. Заглянула ей в лицо. Слишком близко. Так заглядывают не из любопытства — из страха потерять.

— Ты опять не спала?

— Я спала.

— Врёшь. У тебя глаза как у совы. Морана... — Лив взяла её за руку. Её пальцы были холодными и цепкими. Она держалась за сестру так, как держатся за край обрыва. — Ну почему ты не нарисуешь что-то светлое? Ну хоть раз? Люди купили бы, если бы ты нарисовала луг или яблоки. Мы могли бы купить хлеба...

Морана медленно повернула голову и посмотрела на сестру. Голубые глаза смотрели холодно, почти безжизненно, но внутри них горело что-то острое.

— Я не могу, Лив. Я не могу рисовать то, чего нет у меня внутри.

— А что у тебя внутри? — тихо спросила Лив, и в её голосе послышалась детская мольба. — Только тени и ночь?

Морана не ответила. Ответ был — да. Только тени. Только ночь. И ещё — голос, который звучал в её снах и не желал отпускать.

Она встала из-за стола, взяла стопку свёрнутых пергаментов и вышла из дома, не сказав ни слова.

Город просыпался медленно. Узкие улочки были влажными от утренней росы, из печных труб поднимался дым, смешиваясь с запахом хлеба, сырой земли и навоза. Морана шла к рыночной площади, чувствуя, как рисунки тяжелеют в руках. Они всегда тяжелили по пути на рынок. Дома, в мансарде, они были лёгкими — просто пергамент и уголь. Но здесь, среди людей, становились свинцовыми. Чужие взгляды добавляли им веса. Она знала, что сегодня снова никто их не купит.

На площади было шумно. Торговцы выкрикивали товары, женщины торговались, дети бегали между ног. Морана разложила рисунки на старом ящике — как учил её отец, — и села на край лавки.

Она развернула один из пергаментов. На нём был изображён человек на краю обрыва, а вокруг — не небо, а густая тьма, из которой тянулись тонкие, почти невесомые руки. Они не хватали его — просто протягивались, будто хотели коснуться, но не решались. Внизу, у самых ног, чернела трещина, из которой пробивался слабый, холодный свет.

Другой рисунок — портрет женщины, но вместо лица у неё был ночной лес: тонкие ветви, сплетённые в подобие улыбки, и маленькие звёзды вместо глаз. Она смотрела с пергамента спокойно и печально. Она знала что-то, чего не знают живые.

Третий — крылья. Просто крылья. Огромные, чёрные, с перьями, которые на концах светились, как угли, готовые вспыхнуть. Они были нарисованы так, что казалось — дышат.

Люди проходили мимо. Некоторые останавливались, наклонялись, рассматривали. Морана видела их лица — любопытство, которое быстро сменялось тревогой, а потом — отвращением.

— Это что за чертовщина? — фыркнула толстая торговка в засаленном переднике, скривив губы. Она ткнула пальцем в рисунок с крыльями. — Ты, девушка, если хочешь продать — рисуй что-нибудь понятное. Вон, детишек или сад. А это... — она передёрнула плечами. — Смотреть страшно. Люди такое не купят, оно ж не для дома, а для кошмаров.

Махнула рукой и отошла, громко переговариваясь с со-

седкой по лавке. Морана сжала пальцы в кулак, но промолчала. Она слышала эти слова каждый раз. «Страшно». «Не для дома». «Для кошмаров». Они знали, что говорят. Она и сама знала. Но внутри неё не было ничего другого. Только тени. Только ночь. Только он.

День тянулся медленно. Солнце поднялось к зениту, а потом начало клониться к закату. Она не продала ни одного рисунка.

Когда она вернулась домой, мать уже спала, укрывшись старым одеялом. Лив сидела у очага, перебирая сухие листья для чая. Она подняла голову, когда Морана переступила порог. Посмотрела на пустые руки сестры и ничего не сказала. Морана видела всё в её глазах: усталость, голод и ту же молчаливую мольбу, что и каждое утро.

Морана поднялась в свою мансарду. Села за стол. Перед ней лежал чистый лист пергамента и кусок угля.

Она закрыла глаза и попыталась представить что-то светлое. Луг. Цветы. Солнце над холмами. Сжала уголь и начала водить по бумаге. Линия за линией. Трава, облака, дерево.

Она открыла глаза и посмотрела на рисунок.

Серо. Плоско. Мёртво. Трава лежала, как скошенная солома. Небо было белым, будто старая простыня. Дерево — кривое и безжизненное. Это было уродливо. Не потому что она не умела рисовать — она умела. А потому что этого она не чувствовала.

— Ну же... — прошептала она, сжимая уголь. — Ну давай... Хоть раз... Хоть что-то...

Она снова закрыла глаза. Представила яблоню. Белые цветы, зелёные листья, солнце в ветвях. Начала рисовать — быстро, зло, будто могла заставить себя.

Но когда она открыла глаза, на бумаге была всё та же серая пустота. Яблоня — обгоревший скелет. Цветы — скомканные тряпки. Даже солнце на рисунке выглядело холодным, как луна в январе.

Она сжала уголь так, что он хрустнул в пальцах, и отбросила его. Схватила пергамент, хотела разорвать, но руки дрожали. Прижала лист к груди и зажмурилась. По щекам текли слёзы.

— Помоги мне... — выдохнула она в пустоту. — Я не знаю, что делать. Я не могу рисовать, как все. Я не могу дать им хлеб. Я не могу спасти мать. Помоги мне... хоть чем-нибудь...

Она сидела так несколько мгновений, прижимая к груди бесполезный рисунок. Плечи вздрагивали от беззвучного плача.

А потом, когда она уже хотела отбросить его в угол, что-то коснулось её руки. Тёплое. Лёгкое. Как дыхание.

Она замерла. Медленно открыла глаза.

На том месте, где она нарисовала серую яблоню, теперь проступали еле заметные линии. Чужие — аккуратные, уверенные. Кто-то невидимый водил углём по бумаге. Тонкие

ветви начинали обретать форму, и на них загорались первые бутоны. Бледные, почти прозрачные — но они были.

Морана выдохнула, не веря своим глазам. Она смотрела, как на рисунке, который она считала мёртвым, прорастает что-то новое. Что-то, что она не планировала.

И впервые за этот месяц ей показалось, что она не одна в этой мансарде.

— Ты здесь? — прошептала она в пустоту. — Ты меня слышишь?

Ответа не было. Но на бумаге, под самой нижней веткой, появилась тонкая, едва заметная надпись:

«Да»

Глава 2

Морана не спала всю ночь.

Она сидела на полу мансарды, прижав колени к груди, и смотрела на пергамент, который лежал перед ней. Надпись «Да» всё ещё была там — тонкая, почти невидимая, но реальная. Она провела пальцем по буквам. Уголь оставил чёрный след на подушечке. След был тёплым. Или ей это казалось — грань между явью и мороком истончилась настолько, что она уже не бралась судить.

— Ты здесь? — прошептала она снова, вглядываясь в темноту мансарды. — Ты меня слышишь?

Тишина. Только ветер гулял в трещинах старого дома, да где-то внизу скрипнула половица под шагами Лив. Морана вздрогнула — она почти забыла, что в доме есть кто-то ещё. Там, внизу, текла обычная жизнь: глухой кашель матери, бряцанье посуды, запах травяного отвара. А здесь, наверху, пульсировало иное. Неосязаемое. Неназванное. Но оно дышало.

В мансарде было пусто. Она была одна.

И всё же она знала — он где-то рядом. Воздух сгустился, стал вязким. Тени по углам уплотнились, хотя свеча не мигала. Тишина была не немотой — ожиданием. Словно некто затаил дыхание и не решался выдохнуть.

Она взяла новый лист пергамента. На этот раз не пыталась

нарисовать «что-то светлое». Просто положила руки на бумагу и спросила:

— Кто ты?

Секунды тянулись. Ветер за окном стих, и в тишине ей почудилось чужое дыхание — ровное, спокойное. Кто-то сидел напротив и наблюдал. Не изучал — созерцал. Вдумчиво. Неторопливо. Так разглядывают того, ради кого проделали долгий путь и наконец добрались.

А потом уголь, лежавший на столе, сдвинулся сам.

Не покатылся — сорвался с места. Резко. Будто незримая кисть выхватила его и застыла на долю секунды, колеблясь. Он прокатился по доске, замер у края пергамента и принял-ся чертить линию — медленно, с тщанием, выдающим опытного рисовальщика.

Морана перестала дышать. Ногти впились в столешницу, оставляя полумесяцы на дереве. Она не могла оторвать взгляд от угля. Жутко. Гипнотически. Как глядеть в бездну и осознавать, что бездна разглядывает тебя.

Уголь нарисовал крыло. Одно. Чёрное, с перьями, которые на концах светились, как угли, готовые вспыхнуть. Каждое перо было прорисовано с такой точностью, что Морана невольно залюбовалась — её собственное мастерство уступало этому. Уголь остановился, словно ожидая её вердикта.

— Ты умеешь говорить? — спросила она. Голос дрожал.

На пергаменте, под крылом, проступили буквы — тонкие, изящные, будто выведенные рукой, привыкшей к древним

манускриптам:

«Я умею. Но ты не готова»

Морану кольнуло — не испуг, а что-то иное. Задетое самолюбие? Жажда разгадки? Она сама не определила бы. Но эта фраза — «ты не готова» — царапнула глубже, чем любое предостережение. Словно он ведал о ней то, чего она в себе ещё не обнаружила.

— А с чего ты взял, что я не готова? — пальцы сжали край стола.

Уголь снова двинулся:

«Ты дрожишь»

Она посмотрела на свои руки. Они действительно дрожали. Не подрагивали — вибрировали, точно тетива после выстрела. Она сжала их в кулаки, чтобы унять, и выдохнула — глубоко, как учил отец, когда она впервые взяла в руки уголь и боялась испортить бумагу.

— Я не боюсь, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал твёрже. — Я просто... не понимаю. Ты — тот, кто приходит ко мне во сне?

«Да»

— Зачем?

Уголь замер. Моране почудилось, что он размышляет, прежде чем ответить. Она почти зримо представила, как бестелесные пальцы стискивают уголёк, медля. Эта заминка сказала ей больше, чем иные признания.

«Я искал тебя долго. Ты первая, кто меня увидел»

— Что значит «увидел»?

«Я пал. Меня никто не видит. Никто не помнит. Кроме тебя»

Морана перечитала эти слова несколько раз. «Пал». Глагол ударил под дых. Не споткнулся, не оступился — пал. Так низвергаются ангелы. Так теряют всё, что имели. Сердце колотилось, но страх начал отступать, уступая место другому — любопытству, смешанному с ускользящим, почти забытым ощущением. Будто она уже внимала этим речам когда-то.

— Почему я? — спросила она. — Что во мне такого?

На этот раз уголь остался неподвижен. Но рядом с крылом начала проявляться новая линия — тонкая, почти невесомая. Она не вычерчивалась — проступала, как проступает изображение на древнем свитке, когда на него падает луч. И Морана осознала: это она. Её собственный профиль, запечатлённый незримой рукой.

Внизу, под рисунком, появилась надпись:

«Ты рисуешь то, что чувствуешь. А я чувствую тебя»

Морана отшатнулась от стола. Не от ужаса — от прямо-ты попадания. Так оно и было. Она изображала то, что носила внутри. И он — кем бы он ни являлся — действительно ощущал её. Немыслимо. И бесспорно. Она не знала, что делать: смеяться или плакать. Это было безумно. Это было страшно. Но это было невероятно.

— Как тебя зовут? — тихо спросила она.

Уголь двинулся по пергаменту, и перед ней появилось имя:

«Элиан»

Наутро Морана спустилась вниз с красными глазами и кругами под ними, но в её походке появилась новая лёгкость. Словно ночь без сна не измучила её, а наоборот — придала сил. Лив сидела за столом, чистя картошку, и подняла голову, когда сестра вошла.

— Ты опять не спала? — спросила она, но в голосе уже не было упрёка. — Что случилось?

— Ничего, — быстро ответила Морана и села за стол. — Я просто... рисовала.

— Опять эти тени? — Лив вздохнула. В её глазах не было осуждения — только усталость. — Морана, я переживаю за тебя. Ты...

— Я знаю, — перебила её Морана. — Но сегодня я попробую снова пойти на рынок. Может быть, кто-то купит.

Лив посмотрела на неё с сомнением. Она не догадывалась, что прошедшей ночью её сестра перестала быть одинокой. Что в её жизни возник некто, кто не выносил приговоров, кто не требовал стать иной. Кто был рядом — пусть даже ничьи глаза его не различали.

Когда Морана вышла из дома, она сжала в руке свёрнутый пергамент, на котором углём было нарисовано одно крыло. Она не понесла его продавать. Она взяла его с собой, чтобы

чувствовать — он рядом. Пергамент хранил тепло. Или ей опять казалось.

По дороге на рынок она остановилась у колодца. Опустила ведро, достала его и напилась. Холодная вода обожгла горло. Она подняла глаза к небу — серому, холодному, низкому — и прошептала:

— Элиан. Если ты меня слышишь... скажи, что мне делать.

И в этот миг, будто в ответ, ветер донёс до неё знакомый голос — глубокий, низкий, тот самый, что звучал во сне. Он возник не извне. Он родился где-то в глубине — в затылке, вдоль хребта, в той самой точке, куда просачивались её ночные видения.

— Иди в церковь.

Морана замерла. Обернулась. Никого.

Но голос был таким реальным, что она ощутила его почти телесно — как прикосновение к плечу. Горячее. Или ледяное. Она опять не сумела разобрать. Но оно было.

Она не знала, зачем идти в церковь. Но ноги уже сами поворачивали в сторону колокольни.

Когда она вошла в церковь, её встретил полумрак. Тяжёлый запах ладана, воска и старого камня. Воздух здесь был пропитан временем. Каждый вдох отдавал веками, чужими молитвами, чьим-то отчаянием, застывшим под сводами. Где-то впереди горели свечи, и их тени дрожали на сте-

нах. Они не просто колебались — перетекали, перешёптывались, вели беззвучную беседу, недоступную человеческому уху.

В глубине зала пел хор. Голоса звучали чисто, и среди них Морана на мгновение услышала знакомый тембр — тот, который напомнил ей о Лив. Но она знала, что это не сестра. Лив осталась дома — чистила картошку, когда Морана уходила. Это был просто похожий голос. Или морок. Или он — он тоже умел звучать как другие.

— Это просто голос, — прошептала она себе. — Просто похожий.

Но внутри что-то дрогнуло. Пение поднималось к сводам, смешиваясь со светом свечей, и Морана почувствовала, как в груди разливается странное тепло — не своё, но узнаваемое. Так узнают вкус воды из родника, из которого пили в детстве.

Она подняла глаза на алтарь, на старую фреску, изображающую падение ангелов. Чёрные крылья, сломанные тела, свет, уходящий вверх. И одно из крыльев — то самое. Выгнутое под тем же углом, с теми же искрами на концах, которые она рисовала ночью.

— Ты узнаёшь это место, — прозвучал голос за спиной. Не вопрос.

Она обернулась. Никого.

Но воздух за плечом стал плотнее. Кто-то стоял вплотную, не касаясь, но занимая собой всё пространство.

— Элиан?

Тишина. Только пение хора и треск свечей.

Она сделала шаг к фреске. Что-то в этом изображении держало её — не сюжет, а деталь. Слишком знакомая.

— Я чувствую тебя, — прошептала она.

Ответ пришёл — сразу в мысли:

«Ты уже стояла здесь. Не в этой жизни. Смотрела на эти же крылья. И не находила того, что искала.»

Голос был низким, глубоким — не тёплым, не ласковым. Древним.

— Я никогда не была здесь.

«Тело — нет. Но ты помнишь это место. Иначе бы не пришла.»

— Это ты вёл меня сюда? Во сне?

«Я звал. Ты шла.»

— Зачем?

Пауза. Тени на стенах дрогнули.

«Ты видишь то, что другие не видят. Мне нужен тот, кто способен смотреть в бездну и не отводить глаз.»

Она опустила взгляд на свои пальцы. Они дрожали.

— Зачем тебе это?

Пауза. Тени на стенах дрогнули.

«Ты рисуешь мои сны. Другие их не видят. Ты — видишь. Значит, связь уже есть. Осталось понять, насколько она глубока.»

Она подняла голову. Что-то не складывалось.

— Ты говорил, что я первая, кто тебя увидел. Но здесь ты говоришь, что я уже была здесь раньше. Одно с другим не вяжется.

Тени удлинились. Голос стал тише:

«Ты первая, кто увидел меня в этом мире. Но ты видела меня и до этого. В снах. Годами. Я ждал, пока ты будешь готова.»

— Готова к чему?

«Вспомнить.»

— Что вспомнить?

«То, что ты забыла. Не здесь. Не в этой жизни. Раньше.»

Она смотрела на фреску, на фигуру с перебитыми крыльями, и внутри нарастало странное чувство — не страх, а узнавание. Смутное, далёкое, как эхо чужого голоса.

— Если я должна вспомнить — скажи, что. Прямо.

«Не могу. Ты должна прийти к этому сама. Иначе это будет не твоя память, а мой рассказ. А чужой рассказ — это ложь.»

— Тогда зачем ты здесь? Зачем говоришь со мной?

«Чтобы ты знала: я существую. Не только во сне. Я реален. И я рядом.»

Она закрыла глаза. Его слова звучали внутри — холодно, отстранённо, но в них была сила. Не угроза. И не обещание. Что-то другое.

— Ты что-то скрываешь, — прошептала она.

«Да.»

Она открыла глаза. Ответ пришёл сразу — без колебаний, без попытки оправдаться. И от этой честности ей стало страшнее, чем от любой лжи.

— Что?

«Вспоминай. Тогда узнаешь.»

И в этот миг, когда она почувствовала, что он собирается сказать что-то ещё, сзади раздался голос — сухой, властный:

— Девушка. Что вы делаете здесь одна?

Морана резко обернулась.

Перед ней стоял пожилой священник в чёрной рясе. Его лицо было бледным, глаза — узкими и внимательными. Он смотрел на неё так, как смотрят на опасность. Не на заблудшую овцу — на угрозу.

— Я... я искала сестру, — выдавила она. — Она поёт в хоре.

— Хор уже закончил пение, — холодно сказал священник. — И вообще... вы слишком долго смотрите на эту фреску. Она не для простых глаз.

Морана сделала шаг назад. Сердце колотилось — гулко, тяжело. Будто она пробежала не одну улицу, а целую вечность. Она обернулась на алтарь — но фреска теперь казалась просто старой росписью. Без тени. Без присутствия. Он исчез. Растворился, как дым. Как будто его и не было.

— Простите, я ухожу, — сказала она и быстро направилась к выходу, чувствуя, как взгляд священника буравит ей спину. Он не просто смотрел — он запоминал. Так смотрят

охотники на дичь, которую ещё не время убивать.

Она вышла на улицу, и ветер ударил в лицо. Холодный. Отрезвляющий. Она прислонилась к стене церкви, закрыла глаза и выдохнула. Внутри пульсировал его голос, его последние слова, которые он так и не договорил.

— Что ты скрываешь? — прошептала она. — Что ты не сказал мне?

Ответа не было. Только холодный ветер и где-то вдалеке — звон колоколов. Гулкий. Мерный. Как удары сердца, которое бьётся где-то глубоко под землёй.

Морана вернулась домой уже затемно. В окнах горел слабый свет — мать зажгла свечи. Она толкнула дверь и замерла на пороге.

Внутри было беспокойно. С первого взгляда — всё как обычно. Но воздух был наэлектризован, как перед ударом молнии. И пахло не только травами и дымом — пахло чужим присутствием. Страхом. Слезами.

Лив сидела на лавке, сжав руки в коленях. Лицо бледное, глаза красные — она плакала. Мать стояла у очага, опираясь рукой о стену, и её плечи вздрагивали.

— Что случилось? — спросила Морана, чувствуя, как холод разливается в груди. Медленно. Неотвратимо.

Лив подняла на неё заплаканные глаза.

— К нам приходили стражники, — сказала она дрожащим

голосом. — Церковные стражники. Они сказали, что ходят слухи про твои рисунки. Что ты рисуешь... чёрное. Демонов. Что это колдовство.

Морана почувствовала, как земля уходит из-под ног. Пол качнулся.

— И что вы сказали?

— Мама сказала, что ты ничего такого не рисуешь. Что ты рисуешь только то, что заказывают. Но они не поверили. Они сказали, что вернутся. Завтра. И если найдут что-то...

— Лив не договорила, но Морана поняла и без слов.

Если найдут — её сожгут. И не только её. Весь дом. Всю семью. Пламя не разбирает.

— Я уберу рисунки, — быстро сказала Морана. — Я спрячу их так, что никто не найдёт.

Она уже повернулась, чтобы бежать в мансарду, но голос матери остановил её:

— Морана... — Элинор повернулась к ней, и её лицо было белым. Не просто бледным — бескровным. Будто кто-то выпил из неё все соки. — Дочка, что это за рисунки? Что ты рисуешь? Я видела только один, тот, что ты не успела спрятать... Но стражники сказали, что у них есть свидетель. Кто-то видел твои работы. Кто-то рассказал священнику.

Морана замерла. Свидетель. Кто-то на рынке. Кто-то, кто видел её рисунки и пошёл не домой — а в церковь.

— Я не рисую ничего запретного, — сказала она, и голос её дрогнул. — Я просто рисую сны.

— Сны, в которых демоны? — мать покачала головой. — Ты понимаешь, что это значит? Они сожгут тебя. И нас вместе с тобой.

Морана молчала. Она знала, что мать права. Но не могла объяснить, что это не её выбор — рисовать эти тени. Что они приходят сами. Что она пыталась рисовать другое, но у неё не получалось. Что уголь в её руке иногда жил своей жизнью.

— Я спрячу их, — повторила она. — Никто не найдёт. Обещаю.

Она поднялась в мансарду и опустилась на колени у половицы. В темноте, при свете одной свечи, она вытащила все свои рисунки: десятки пергаментов, исписанных тенями, крыльями, падшими ангелами, обрывками и светящимися углями. Они лежали перед ней — не просто рисунки. Дневник. Исповедь. Единственное, что было настоящим в её жизни. Она смотрела на них — на свою боль, свой страх, свою тайну. И вдруг поняла, что не может их сжечь. Не сможет. Даже ради спасения. Потому что сжечь их означало — сжечь себя.

— Ты здесь? — прошептала она в пустоту.

Уголь на столе снова сдвинулся. Он начертил на пустом листе одно слово:

«Я здесь»

Морана выдохнула. На глазах выступили слёзы — отчаяния, страха и странного, почти невозможного облегчения. Она не одна. Она больше не одна. Она не могла уничтожить

рисунки. Но она могла спрятать их туда, куда стражники не догадаются заглянуть.

— Помоги мне, — прошептала она. — Ты нужен мне.

Уголь замер, а потом на пергаменте появились новые буквы:

«Я всегда здесь, Мора»

Глава 3

Морана не спала.

После того как уголь замер, оставив на пергаменте последние слова — «Я всегда здесь, Мора», — она ещё долго сидела на полу мансарды, прижав колени к груди. Потом поднялась, зажгла свечу и разложила перед собой все рисунки. Десятки пергаментов. Крылья. Тени. Обрывы. Если стражники найдут это — пощады не будет.

— Куда мне их спрятать? — прошептала она в темноту. — В доме нельзя. Обыск перевернёт всё. В лесу — земля замёрзла.

Тишина. А потом уголь снова сдвинулся.

«За домом. У старого дуба. Твой отец знал это место. Ты — забыла.»

Она замерла. Отец. Он говорил о дубе, когда она была ещё ребёнком. Показывал нишу под корнями — говорил, что там можно спрятать что угодно. Но откуда Элиан знает об этом?

— Ты знал моего отца?

«Нет. Но я знаю то, что знаешь ты. Твои воспоминания — даже те, что спрятаны глубоко. Это место — надёжное. Иди.»

Она не стала спорить. Времени не было. Свернула рисунки в тугой свёрток, перевязала бечёвкой. В доме было тихо — Лив спала, мать тоже. Морана накинула плащ и выскольз-

нула во двор.

Ночь встретила её холодом. Она подошла к старому дубу, опустилась на колени у корней, разгребла слежавшиеся листья. Камень был на месте. Под ним — ниша, глубокая и сухая. Отец выдолбил её сам, много лет назад.

Она уложила свёрток, прикрыла камнем, забросала листьями. Выпрямилась. Дышала тяжело, но внутри появилось что-то похожее на спокойствие.

Когда она вернулась в мансарду, воздух изменился. Стал плотным, студёным — будто кто-то распахнул окно в зимнюю ночь. Она знала: это он.

— Ты здесь? — прошептала она, не открывая глаз.

«Ты просила о помощи», — ответил он. Голос звучал в её голове — ровный, без эмоций.

— Я просила. Но я не просила тебя стоять у моей постели.

«Ты просила быть рядом. Я выполняю просьбу».

Она открыла глаза. В мансарде было темно, и она никого не видела. Но холод, исходящий от его присутствия, был ощутим. Он заполнял собой пространство — невидимый, но неизбежный.

— Завтра придут стражники. Они найдут рисунки. Меня сожгут.

«Я знаю».

— И ты позволишь этому случиться?

«Нет. Я помогу тебе спрятать их. Но ты должна сделать это сама».

Она нахмурилась. В его словах всегда был второй смысл — она уже начинала это понимать. Он не лгал. Но и всей правды не говорил.

— Что значит «сама»?

«Я не могу коснуться твоих вещей. Я могу только подсказать. Ты должна взять их и убрать туда, где их не найдут».

Она помедлила, но встала с постели. Ноги коснулись холодного пола. Она чувствовала направление — будто невидимая нить тянула её вперёд.

— Куда?

«За дом. К старому дубу. Там есть сундук, который твой отец закопал много лет назад. Ты не знала о нём. Но он там».

Она вышла во двор. Ветер был холодным, но она почти не чувствовала его. Всё её внимание было сосредоточено на том, кто шёл рядом — невидимый, но такой реальный, что, казалось, протяни руку — и коснёшься. Она опустилась на колени у дуба и начала рыть землю руками. Пальцы замёрзли, ногти забились грязью, но она не останавливалась. Через несколько мгновений пальцы наткнулись на твёрдую поверхность. Деревянный сундук. Старый, но крепкий.

— Откуда ты знаешь о нём? — спросила она.

«Я вижу твои воспоминания. Даже те, которые ты не помнишь».

Она замерла. Внутри поднималась злость — не ярость, а холодное, отрезвляющее понимание: кто-то чужой копается в её прошлом.

— Ты читаешь мои мысли?

«Я слышу твою боль. Твои страхи. Это не мысли. Это то, что ты прячешь от самой себя».

Она не ответила. Спорить было бессмысленно. Он видел её насквозь. Она открыла сундук — он был пуст, но пах старым деревом и землёй. Так пахло в мастерской отца. Она вернулась в дом, собрала все рисунки, завернула их в мешковину и спрятала в сундук, закопав его обратно.

— Теперь они не найдут их, — сказала она, вернувшись в мансарду.

«Да. Но ты должна запомнить: я сделал это не потому, что я твой друг. Я сделал это, потому что ты мне нужна живой. Не путай».

Она замерла. «Не путай». Два слова, которые расставили всё по местам. Никакой нежности. Никаких обещаний. Только холодный расчёт.

— Зачем я тебе?

«Когда придёт время — узнаешь. А пока — спи. Завтра они придут, но ты будешь готова».

Она легла, но долго не могла уснуть. «Ты мне нужна живой». Он не сказал «я хочу тебя защитить». Не сказал «я буду рядом». Он сказал ровно то, что имело значение для него. Она была нужна ему — как ключ к чему-то, чего она пока не понимала. И это было холодно. И это было честно. И от этой честности ей было страшнее, чем от любой лжи.

Наутро она знала одно: стражники придут. И она встретит их спокойно. По крайней мере, она так думала.

Солнце только поднялось над крышами, когда во двор вошли стражники.

Их было трое — в тёмных плащах, с тяжёлыми поясами, на которых висели ключи и короткие мечи. Они двигались не как гости — как хозяева. Не стучали. Просто вошли, будто имели право заходить в любой дом в городе.

— Где девушка, которая рисует демонов? — спросил тот, что был выше всех. Голос его был сухим, как старая кора.

Элинор вышла им навстречу — бледная, но прямая. Казалось, дунь — и она погаснет. Но она негнулась.

— Я не знаю, о чём вы говорите, — сказала она. — Моя дочь рисует только то, что ей заказывают. Цветы, луга, портреты детей.

— Лжёшь, — бросил стражник и шагнул вперёд. Его сапоги оставляли грязные следы на чистом полу. Он повернулся к Моране, которая застыла на лестнице. — У нас есть свидетель. Твой отец, покойный, — он усмехнулся, растягивая слово, — показывал твои рисунки священнику. Перед смертью. Говорил, что ты рисуешь бесов.

Морана застыла. Отец? Этого не могло быть. Он учил её держать уголь, хвалил её рисунки, никогда не говорил, что они неправильные. Но стражник говорил — и в его голосе звучало то, что он считал правдой.

Она сделала шаг вниз, затем ещё один.

— Я пойду с вами, — сказала она. — Я покажу вам свои рисунки. Они не запретные.

Она знала, что идёт на риск. Один пергамент лежал в её платье — тот самый, с крылом. Она не смогла оставить его в сундуке. Он тёрся о ребро, когда она спускалась по лестнице.

— Веди, — сказал стражник.

Она поднялась в мансарду с ними — с двумя стражниками, которые смотрели по сторонам жадными глазами. Они не просто искали — они предвкушали. Они уже видели костёр. Она открыла сундук, где лежали обычные рисунки: портреты соседей, яблоки, цветы. Разложила их на столе и отошла.

— Вот. Всё, что есть. Ничего запретного.

Стражник склонился над столом, перебирая рисунки. Его пальцы были грязными — они пачкали бумагу. Морана сжала зубы, но промолчала.

— Ты думаешь, мы поверим, что ты рисуешь только это? — сказал он, поворачиваясь к ней. — Тогда зачем ты прятала что-то под половицей?

Сердце остановилось на мгновение. Просто — раз, и тишина в груди.

— Я ничего не прятала.

Стражник не ответил. Он подошёл к половице, поддел её ногой и поднял. Движение было точным — он знал, куда смотреть. Кто-то сказал ему. Кто-то, кто знал этот дом. И там, в темноте, лежал один пергамент. Тот самый — который она рисовала ночью, когда впервые увидела крылья. Она бы-

ла уверена, что убрала его. Но он лежал. Ждал.

И в тот же миг она почувствовала, как что-то исчезло. Пергамент, который она спрятала в складках платья, — его больше не было. Она ощущала его тяжесть всю дорогу до мансарды. А теперь — пустота.

Она машинально прижала ладонь к боку. Платье было гладким. Пергамент исчез. И в ту же секунду стражник поднял его с пола — тот самый, что только что лежал у неё за пазухой. Он не мог оказаться под половицей. Не мог. Но он был там.

Морана перевела взгляд на тёмный угол мансарды. Он был там. Она знала. И он молчал.

Стражник поднял рисунок и посмотрел. На мгновение его лицо вытянулось. Потом он усмехнулся — медленно, торжествующе.

— Это не цветы. И не луга. Что это, девушка?

Морана молчала. Она не знала, как объяснить, что это не её рука. Что кто-то — не человек, не демон, а тот, кто стоял у её постели, — переместил рисунок. Вытащил из её платья. Подложил под половицу.

— Это... это сон, — выдавила она. — Просто сон, который я рисую иногда.

— Сон с крыльями? — стражник поднял бровь. — Ты рисуешь сны с демонами? И называешь это просто «сон»?

Пол под ней качнулся. Она вцепилась в край стола, чтобы не упасть. Её слова ничего не значили. Они уже решили, что

она ведьма. Один рисунок — достаточно.

— Я не ведьма, — сказала она тихо, но твёрдо. — Я просто художница.

— Художница, которая рисует крылья падших ангелов? — стражник развернул пергамент и показал остальным. Те переглянулись. Молча. Но в их глазах она прочла приговор. — Ты знаешь, что это смертный грех? Знаешь, что за это сжигают?

Морана молчала. Она смотрела на рисунок, который сжимал в руках стражник, и вдруг заметила то, чего раньше не было. На том же месте, где она рисовала крылья, теперь проступала едва заметная линия — крошечная фигура, стоящая на коленях. Такая же, как на фреске. Она не рисовала её. Но фигура была там.

И в этот момент она поняла: Элиан всё подстроил. Он оставил этот рисунок. Он знал, что стражники придут. Он вытащил пергамент из её платья и положил туда, где его найдут. Он не просто не помог — он толкнул её в пропасть.

— Я не знаю, как он там оказался, — сказала она, чувствуя, как внутри поднимается холодная злость. На этот раз — на него.

— Значит, твой демон сам оставил его, чтобы подставить тебя? — усмехнулся стражник. — Интересная сказка. Может, расскажешь её священнику?

Он кивнул своим людям, и те схватили Морану за руки. Хватка была железной — она даже не пыталась вырваться.

Она смотрела на рисунок, на маленькую фигуру, стоящую на коленях.

— Элиан, — прошептала она, — зачем?

Он не ответил. Да она и не ждала ответа — она уже поняла. Он использовал её. С самого начала. Каждое его слово, каждый жест — всё было просчитано. «Я всегда здесь, Мора». «Ты нужна мне живой». Она поверила ему. Поверила, что он — единственный, кто понимает её. А он просто ждал момента, чтобы привести её сюда — в руки стражников.

Обида поднялась из глубины груди — горячая, удушливая. Не на них — на него. На себя. На то, что позволила себе довериться тени, которая даже не была человеком.

Она зажмурилась, пытаясь удержать слёзы. Не вышло. Они текли по щекам — горячие, злые, — и она не могла их остановить.

Она не знала, услышал ли он её. Но когда стражники вывели её из дома, в груди разлился холод — не его, её собственный. Она доверилась ему. А он только что доказал: его помощь может стоить ей жизни.

Лив стояла у порога и смотрела на неё с ужасом. Губы шевелились, но слов не было — только беззвучное «нет».

Мать плакала, закрыв лицо руками. Плечи тряслись, старая шаль сползла на пол.

И Морана, прежде чем стражники закрыли за ней дверь, услышала его голос — тихий, почти нежный:

«Я хочу, чтобы ты увидела правду. Всю. Только так ты

сможешь вспомнить».

Она не ответила. Она просто шла вперёд, чувствуя, как холодный ветер бьёт в лицо, а внутри — пустота и тишина. Не та тишина, в которой он приходил к ней. Другая. Глухая. Мёртвая. Она не знала, что будет дальше. Не знала, кому верить. Она знала только одно: она больше не одна. И это пугало её больше, чем стражники.

Глава 4

Её вели по узким, тёмным коридорам церкви. Стражники молчали, и их шаги гулко отдавались от каменных стен — глухо, рвано, будто камни не хотели принимать этот звук, отторгали его, возвращали обратно. Морана не сопротивлялась — она знала, что это бесполезно. Она смотрела под ноги, считая шаги, чтобы не думать о том, что будет дальше. Раз, два, три. На четвёртом сбилась. На пятом — забыла, зачем считает.

В конце коридора оказалась старая деревянная дверь, обитая железом. Железо проржавело, ржавчина оставляла бурые следы на пальцах стражника, когда он отодвигал засов. Тот отодвинул его, и они спустились по крутой лестнице в подвал.

Там было холодно. Пахло сыростью, плесенью и ещё чем-то — кислым, едким. Так пахнет страх, въевшийся в стены за долгие годы.

Подвал оказался небольшим — шагов пять в длину и три в ширину. Стены сложены из грубого серого камня, кое-где покрытого зелёным мхом и белыми разводами соли. С потолка свисали капли, падая на каменный пол с мерным, тягучим звуком, который разрывал тишину, как тиканье часов. Тик. Так. Тик. Так. Будто само время отсчитывало её срок.

В центре комнаты стоял деревянный стол, тёмный от ста-

рости, с неровной поверхностью, покрытой потёками воска. Воск был разного цвета — белый, жёлтый, бурый. Сюда приходили многие. Не все выходили. На столе лежала раскрытая книга с пожелтевшими страницами и металлическое распятие, тускло поблёскивавшее в свете единственной свечи.

Свеча стояла на краю. Её пламя колебалось от сквозняка, бросая длинные, дрожащие тени на стены. Тени двигались, даже когда Морана замирала, — будто жили своей жизнью. В углах было темно — настолько, что казалось, там скрывается кто-то или что-то. Дальше двух шагов от свечи она не могла ничего разглядеть.

В дальней стене виднелась узкая ниша — каменная лежанка, застеленная соломой. Солома почернела от времени. Пахла не сеном — разложением. Рядом стоял глиняный кувшин с водой — старый, с отбитым краем. Вода в нём была мутной — Морана не знала, сколько дней она здесь просто-яла.

Над лежанкой, в толще стены, было пробито небольшое отверстие — квадратная щель, через которую едва проби-вался свет. Серый, бессильный. Он не освещал — только напоминал: где-то там, наверху, ещё существует мир. Должно быть, это окно выходило на уровень земли. Сквозь него не было видно ничего, кроме серого света и редких теней, когда кто-то проходил мимо.

Подвал давил. Не только физически — хотя воздух здесь казался гуще, плотнее, он застревал в лёгких и не хотел вы-

ходить. Хуже было другое: мысль, что она заперта. Что над ней — тонны камня. Что никто не услышит, даже если она закричит. В углу висела паутина, и где-то далеко, за стеной, слышался звук воды, стекающей по трубам.

И в этот момент тьма в углу шевельнулась.

Из самого тёмного угла подвала вышел человек — не спеша, как тот, кто привык, что его ждут. Сначала проступило лицо — бледное, изрезанное морщинами. Потом плечи, закутанные в чёрную рясу. Потом руки — длинные, узловатые пальцы сжимали распятие, будто оно могло защитить его от неё. Свеча выхватывала его из мрака по частям, и в этом было что-то неправильное — тьма словно не хотела отпускать его.

— Оставьте нас, — сказал он стражникам.

Те вышли, и дверь захлопнулась за ними — глухо, окончательно. Так захлопывается крышка гроба. Морана осталась одна — со священником, чёрными тенями и холодным камнем под ногами.

— Садись, — он указал на стул напротив.

Она села. Стул был жёстким, неудобным — таким, на котором невозможно расслабиться. На котором чувствуешь себя виноватым ещё до того, как тебя обвинили. Священник был стар, но глаза его оставались живыми — слишком живыми, слишком внимательными. Они не просто смотрели — они ощупывали. Как пальцы, ищущие слабое место.

— Ты знаешь, зачем ты здесь? — спросил он.

— Потому что я рисую сны, — тихо ответила она, опустив глаза.

— Не просто сны. Ты рисуешь то, что запрещено. Кто научил тебя этому?

— Никто, — она старалась, чтобы голос звучал ровно. — Я просто рисую то, что вижу.

— А что ты видишь?

Морана помедлила. Внутри боролись страх и осторожность. Страх говорил: молчи. Осторожность говорила: скажи правду, но не всю. Она не знала, можно ли ему доверять. Не знала, что он сделает с её словами.

— Людей, — сказала она наконец. — Места. Иногда... странные.

— Странные? — священник подался вперёд. Его тень метнулась по стене, выросла, стала огромной. — Что ты имеешь в виду?

Она покачала головой.

— Я не знаю, как объяснить. Просто сны, которые оставляют след. Я рисую их, чтобы не забыть.

Священник смотрел долго, пристально, будто пытался прочесть её мысли. Морана не отводила взгляд, но держала руки сжатыми под столом, чтобы он не заметил, как они дрожат. Костяшки побелели. Ногти впились в ладони. Боли она не чувствовала — только холод.

— Ты говоришь, что рисуешь сны. Но на рисунке, который мы нашли, — крылья. Чёрные крылья. Ты знаешь, что

это такое?

Она на мгновение замялась, но взяла себя в руки. Он ждал. Он всегда ждал — этот священник. У него было время.

— Это просто сон. Я не знаю, что это значит. Я просто рисую, а потом смотрю.

— Ты не знаешь? — священник усмехнулся. Усмешка была тонкой, как лезвие. — Или не хочешь говорить?

Морана опустила глаза. Она чувствовала, как он пытается поймать её на слове, заставить выдать больше, чем она хотела. Он был хорош в этом. Слишком хорош.

— Я не знаю, — повторила она тихо.

— Я дам тебе три дня, — голос его стал холоднее. Холоднее камня. Холоднее воды в кувшине. — Ты будешь жить здесь, под землёй. Ты будешь молиться. Ты будешь просить Бога избавить тебя от этих снов. И если через три дня ты не сможешь доказать, что они ушли, я передам тебя суду. А суд в этом городе не знает пощады.

Он вышел, и дверь захлопнулась.

Морана осталась одна в темноте.

Свеча догорала, и тени на стенах становились всё длиннее. Они тянулись к ней — медленно, неотвратимо. Как пальцы, которые вот-вот сомкнутся. Она сидела на холодном каменном полу, обхватив колени, чувствуя, как влага проникает сквозь тонкую ткань платья. Влага была липкой. Она не просто касалась кожи — она впитывалась, будто камень хотел

забрать её тепло. Единственный свет проникал сквозь узкую щель под дверью, но он был слишком слабым, чтобы разогнать тьму в углах.

Три дня.

Священник дал ей три дня. А что, если она не сможет доказать? Что, если сны не уйдут? Она знала, что они не уйдут. Они никогда не уходили. Сколько она себя помнила — они всегда были с ней. Всегда приходили по ночам, всегда оставляли след. И теперь этот след может стоять ей жизни.

Она представила площадь. Толпу. Людей, которые ещё вчера покупали у матери настойки, а сегодня пришли смотреть, как её, Морану, привязывают к столбу. Почувствовала запах дыма — не того, что из очага, а другого, чёрного, едкого, того, что поднимается от горящей плоти. Ей стало дурно. Она зажмурилась, пытаясь отогнать видение, но оно не уходило.

А Лив? А мать? Если её осудят как ведьму — тень падёт на всю семью. Их дом могут сжечь. Их самих — изгнать. Или того хуже. Мать едва держится на ногах, Лив ещё ребёнок. Что с ними будет, если её не станет?

Она прижала ладони к лицу. Пальцы дрожали. Она не могла молиться — слова застревали в горле. Не могла плакать — слёзы кончились ещё там, наверху, когда стражники выводили её из дома. Оставалось только сидеть в этой темноте и ждать. Ждать неизвестно чего. Может быть, чуда. Может быть, его.

Она смотрела на распятие на столе. Оно казалось чужим, холодным, как и всё в этом подвале. Бог, который висел на этом кресте, не отвечал на молитвы. Она знала это. Знала с тех пор, как умер отец.

Где-то вверху пел хор — далёкий, неземной, как воспоминание о другой жизни. Голоса звучали чисто, высоко, проникая сквозь каменные своды, и Моране казалось, что они звучат насмешливо. Будто те, кто пел, знали: она здесь, внизу, и ей не выбраться.

— Элиан, — прошептала она в темноту, — зачем ты оставил тот рисунок? Зачем ты позволил им найти меня?

Тишина.

Она закрыла глаза, прислушиваясь к своему дыханию. И вдруг тени на стенах дрогнули. Не от ветра — от чьего-то присутствия. Они качнулись в её сторону, будто кто-то прошёл сквозь них. Она почувствовала его раньше, чем услышала голос.

«Я хотел, чтобы ты оказалась здесь».

Она вздрогнула, но не открыла глаз. Ресницы дрожали.

— Что? Ты хотел, чтобы меня заперли?

«Да. Потому что здесь, под землёй, в стенах этого места, ты ближе к тому, что забыла. Эта церковь — не просто камни. Она построена на месте старого капища. Того самого, где когда-то проходила грань между нашими мирами. Я не мог привести тебя сюда сам — они бы почувствовали. Но если тебя привели они... — он выдержал паузу, — ...они сами от-

крыли тебе дверь. Сами того не зная».

Она открыла глаза. Внутри поднималась злость — горячая, острая, совсем не похожая на тот холод, который она чувствовала раньше.

— Ты подставил меня. Ты вытащил рисунок из моего платья и положил его под половицу. Ты знал, что они придут. Ты знал, что они найдут его. Ты отдал меня им — и даже не спросил, готова ли я.

«Ты была готова. Ты просто не знала об этом».

— Меня только что допрашивали. Священник сказал, что через три дня меня отдадут под суд. Меня могут сжечь. Моя семья останется одна, если со мной что-то случится. Ты хоть понимаешь, через что я сейчас прохожу?

«Понимаю». — Его голос стал тише. — «И я не прошу прощения. Я прошу только одного: доверься мне. Этого места достаточно, чтобы начать вспоминать. Остальное — в тебе».

Она сжала кулаки. Ногти впились в ладони — до боли. До крови.

— А если я не хочу вспоминать? Если мне страшно? Если я боюсь, что ты снова что-то скрываешь?

Он молчал. И это молчание было ответом — не тем, которого она ждала.

— Ты снова недоговариваешь, — прошептала она. — Я чувствую это. Каждый раз, когда ты говоришь «правду», я слышу, как за ней прячется другая правда. Та, которую ты

мне не говоришь.

«Потому что не всё можно сказать, Мора. Некоторые вещи нужно прожить. Некоторые — вспомнить самой. Если я скажу тебе всё сейчас — ты не выдержишь».

— А если я выдержу?

Он снова замолчал. На этот раз — надолго. А потом его голос прозвучал совсем тихо, почти нежно:

«Я не могу рисковать. Ты — единственное, что у меня есть».

Она закрыла глаза. Слезы текли по щекам — горячие на ледяной коже. Она не знала, верить ли ему. Не знала, что скрывается за его словами. Но где-то глубоко внутри — там, где ещё теплилась надежда, — она чувствовала: он не желает ей зла. Он просто не умеет иначе. Или не может.

Глава 5

Она не знала, когда заснула. Просто в какой-то момент темнота перестала быть темнотой, и она оказалась в другом месте. Без перехода. Без ощущения падения. Только что был каменный пол под спиной — и вот уже сухая трава под ногами.

Это было поле. Бесконечное, пустое, залитое холодным серебряным светом, который не исходил ни от солнца, ни от луны — он просто был, как будто сам воздух светился. Свет был неживым. Он не грел, не ласкал — он просто существовал, как свидетель. Трава под ногами была сухой, выгоревшей, и она хрустела, как старая бумага, когда она ступала по ней. Каждый шаг отдавался глухим шорохом, нарушавшим тишину, которая висела над этим местом. Тишину, которая ждала. Которая слушала.

Небо нависало низко, серое, без единой звезды, без про света, без надежды. Оно не давило — оно просто было. Безучастное. Вечное. Казалось, что это не небо, а потолок, закрывающий мир, и где-то за ним — пустота.

Она стояла одна. Но знала, что он где-то рядом. Знала не умом — телом. Воздух здесь был другим: плотнее у земли, холоднее у лица. И в этом холоде таилось его присутствие. Она не видела его, но чувствовала — в каждом сухом стебле, в каждом движении воздуха. В том, как трава пригибалась к

земле, хотя ветра не было.

Она сделала шаг вперёд. Ветер коснулся её лица — тёплый, странный, не похожий на тот, что дул в её мире. Он пах не травами, не землёй — он пах воспоминанием. Чужим. Древним. Как будто она вдохнула воздух, который помнил то, что она забыла.

Она пошла по полю, туда, где земля начинала подниматься, и вскоре увидела его.

Он стоял на краю обрыва — там, где земля обрывалась в пустоту. Не просто в пропасть — в ничто. В то, чему нет названия. Его крылья были чёрными, огромными, они касались земли, и каждое перо на конце светилось, как уголёк, готовый вспыхнуть. Светилось и гасло, светилось и гасло — как дыхание. Как пульс. Он не обернулся, но она знала — он чувствует её. Каждый её шаг, каждое колебание воздуха, каждое биение сердца. Наверное, он слышал его даже отсюда.

— Ты пришла, — сказал он, и его голос был таким же, как в её мансарде. Ровным, холодным, без тени тепла. Но она уже научилась слушать не слова — пространство между ними. И там было что-то ещё. Натянутое. Звонящее. Может быть, он ждал её дольше, чем хотел показать.

— Где мы? — спросила она, оглядываясь вокруг.

— В твоей памяти. Ты просила показать тебе.

Она подошла ближе. Остановилась в шаге от него. На расстоянии вытянутой руки. На расстоянии, которое можно бы-

ло сократить одним движением. Она могла бы коснуться его крыльев, но не решилась. Ей казалось, что если она дотронется до них, то что-то изменится. Что-то сломается. Или, наоборот, встанет на место. И она не знала, к чему это приведёт.

— Я не помню этого места.

— Ты не хочешь помнить. Но оно есть.

Она посмотрела вниз, в пропасть. Там, в глубине, клубился туман — серый, плотный, как вата. Он двигался, перетекал, словно что-то живое ворочалось на дне. Она не могла разглядеть дна, но ей казалось, что в этом тумане кто-то есть. Кто-то, кто смотрит на неё. Ждёт. Знает.

— Что там? — спросила она.

Он молчал так долго, что она уже думала, он не ответит. Тишина стала густой, как тот туман внизу.

— Там моё начало, — сказал он наконец. — И мой конец. Там всё, кем я был, перестало существовать.

Она замерла. Слова прозвучали не как признание — как приговор. Тихий. Окончательный. Произнесённый тем, кто давно смирился.

— Ты упал туда?

— Я не упал. Меня толкнули. — Он по-прежнему не смотрел на неё, но его голос стал ниже, глубже. Как будто говорил не он — а сама пропасть. — И ты стояла здесь, когда это случилось. Ты звала меня. Снова и снова. Пока голос не сорвался.

Его голос оставался ровным, но в последних словах мелькнула едва заметная трещина. Как волосок на стекле — не разбивает, но меняет всё. Морана услышала её, но не была уверена — показалось ли ей.

— Я не помню этого.

— Ты не хочешь помнить.

— Но я хочу помнить. Даже если это больно. Особенно если это больно.

Он медленно повернулся к ней, и впервые она увидела его лицо — не тень, а черты. Острые, резкие, почти болезненные. Такие лица бывают у тех, кто слишком долго носил маску и забыл, как выглядит без неё. В его глазах, тёмных и глубоких, она увидела не холод, а что-то запрятанное глубоко внутри. Что-то, что он прятал даже от себя.

— Ты была единственной, кто не боялся меня. Тогда. Это было давно.

Она почувствовала, как что-то дрогнуло внутри неё. Не сердце — глубже. Там, где живут воспоминания, которых нет.

— Мы были близки?

Он не ответил сразу. Его взгляд скользнул по её лицу, как будто он изучал её. Как будто сравнивал с кем-то. С той, другой. С той, кого она не помнила.

— Мы были связаны. Но это не имеет значения сейчас.

— Почему ты не хочешь рассказывать мне всё сразу?

— Потому что некоторые вещи не рассказывают. Их нуж-

но вспоминать самой. Я могу показать тебе путь. Но пройти по нему ты должна сама. Иначе это будет не твоя память. А моя. А чужая память не лечит.

Она сжала пальцы в кулак. Ногти впились в ладони — боль отрезвила. Вернула в этот странный сон, где всё было слишком реальным.

— Тогда покажи мне ещё. Хотя бы маленький кусочек.

Он смотрел на неё долго, и его глаза оставались холодными. Но в этом холоде ей почудилось что-то знакомое. Не тепло — его там не было. Но что-то похожее на надежду.

— Закрой глаза.

Она закрыла.

Она увидела себя. Молодую, лет семнадцати, с теми же светлыми волосами, но в другом платье — светлом, из тонкой ткани. Ткань струилась, как вода, и ветер с реки играл с подолом. Она сидела на берегу реки, и рядом с ней сидел он — без крыльев, но с теми же тёмными глазами, в которых горел тот же холодный свет. Она знала, кто он. Знала каждой клеткой — так, как знают родных. Она не видела его крыльев, но чувствовала их присутствие — как будто они были спрятаны за его спиной, готовые раскрыться в любой момент.

Она смеялась. Громко, открыто, запрокинув голову назад. Смех разливался над рекой, и вода, казалось, звенела в ответ. Он смотрел на неё с чем-то, что она не могла прочитать —

может быть, с теплотой, может быть, с тоской. А может, с тем и другим сразу. Так смотрят на то, что знают — потеряют.

Она протянула руку и коснулась его лица. Его кожа была тёплой, но под ней чувствовалась странная сила, как будто внутри него горел огонь. Не обжигающий — согревающий. Тот, у которого хочется сидеть вечно.

— Обещай мне, — сказала она, и голос её был молодым, но уже серьёзным, — что ты никогда не уйдёшь. Даже если небо упадёт на землю.

— Обещаю, — ответил он.

Но в его глазах она увидела тень. Не просто тень — знание. Он уже знал. Уже тогда. И ничего не сказал.

Она открыла глаза. На её глазах были слёзы. Горячие. Настоящие. Единственное, что связывало этот мёртвый сон с живым миром.

— Я видела нас. Мы были счастливы.

— Да. Это было давно.

— Что случилось потом?

Он не ответил. Он просто смотрел на неё. И в этом взгляде было всё, что он не мог сказать.

— Ты не готова. Пока.

— Я готова, — сказала она, пытаясь, чтобы голос звучал твёрже. Но он дрогнул. Предательски. На последнем слог.

— Ты так думаешь. Но ты ошибаешься.

Она хотела возразить, но мир вокруг неё начал таять. Не

исчезать — именно таять. Как лёд на солнце. Как сон на рассвете. Она чувствовала, как его присутствие исчезает, оставляя только холод и пустоту.

— Подожди, — прошептала она, — не уходи...

Но он уже исчез. И поле исчезло. И обрыв. И свет, который не грел. Осталась только темнота подвала и холодный камень под спиной.

Она проснулась на каменной лежанке, прижимая руки к груди. Сердце колотилось так, будто она бежала. Будто она падала. Будто она стояла на том обрыве и смотрела вниз. Она чувствовала, как слёзы текут по её щекам, и не могла остановить их. Она сжимала пальцы в замок, пытаясь удержать тот образ — смех, реку, его глаза. Но он ускользал. Таял. Как всё в этом проклятом подвале.

Свеча почти догорела, и в подвале становилось всё темнее. Тьма сгушалась, как будто ждала, пока последний огонёк погаснет. Где-то наверху скрипнула дверь, и она услышала шаги — медленные, тяжёлые. Раз. Два. Три. Священник никогда не спешил. Ему некуда было спешить.

Она прислушалась. Это был он. Снова шёл к ней.

Морана вытерла слёзы рукавом — грубо, быстро, как будто могла стереть не только влагу, но и само воспоминание о сне. Она села, стараясь, чтобы лицо не выдало того, что она чувствовала.

Дверь открылась, и он вошёл. Свеча в его руке дрогнула,

тени метнулись по стенам и замерли.

— Ты не спишь? — сказал он, глядя на неё с подозрением. Слишком пристально. Слишком понимающе.

— Я спала, — ответила она. — Только что проснулась.

Он подошёл ближе, держа в руке свечу, и посмотрел на её лицо. Его глаза были как два гвоздя — они прибивали её к месту.

— Ты плакала. Что тебе снилось?

— Я не помню, — тихо сказала она. И в этот раз это было почти правдой. Она не помнила — она чувствовала. А чувства не расскажешь.

Он смотрел на неё долго, пристально, но она выдержала его взгляд. Выдержала, хотя внутри всё дрожало. Хотя хотелось закричать: «Уйдите! Оставьте меня! Я только что видела то, что вы никогда не увидите!»

— Ты должна молиться, — сказал он наконец. — Это единственный способ очистить душу.

«Моя душа не грязная, — подумала она. — Она просто помнит то, что этот мир заставил забыть».

Он повернулся и вышел, оставив её одну с новой порцией темноты.

Она сидела на лежанке, прижав колени к груди, и чувствовала, как в голове пульсирует образ. Поле. Обрыв. Его глаза. И та, другая она — молодая, смеющаяся, не знающая, что будет дальше. Она смотрела на свои руки, на старый кувшин

с водой, на маленькое окно в стене, через которое не проби-
валось ничего, кроме серого света. Света, который ничего не
освещал.

— Что случилось потом? — прошептала она в пустоту. —
Что ты скрываешь?

Ответа не было. Но она знала — он слышал её. Знала по
тому, как дрогнули тени в углу. По тому, как на секунду
потеплел воздух. И когда придёт время, он покажет ей ещё
один кусочек правды.

Она закрыла глаза и почувствовала, как холодный камень
под её спиной пульсирует в такт её сердцу. Или это её сердце
билось в такт камню. Она уже не различала.

Глава 6

Морана не спала. Она сидела на каменной лежанке, глядя в одну точку, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Капли были медленными, щекочущими — как пальцы, которые проводят по позвоночнику. Свеча догорела, и подвал погрузился в густую, давящую тьму. Где-то вверху шаги стихли. Наступила тишина. Не та тишина, в которой он приходил к ней — а та, в которой что-то зрело.

Она думала о сне. О его словах. О том, что он не сказал ей всей правды. Она чувствовала это каждой клеткой тела. Чувствовала, как невысказанное висит между ними — невидимое, но осязаемое. Как паутина, которой нет конца.

— Ты здесь? — прошептала она в пустоту.

Ответа не было.

Но вдруг воздух в подвале стал плотным, как перед грозой. Тяжёлым. Таким, что каждый вдох приходилось вытягивать из себя. Тени на стенах дрогнули, и Морана почувствовала, как внутри неё что-то сжалось. Не от страха — от предчувствия.

А потом она услышала голос — но не его. Чужой, холодный, металлический, пронизывающий пространство, как лезвие. От этого голоса не закладывало уши — от него неме- ла кожа.

«Он здесь. Мы чувствуем его присутствие».

Она вскочила, прижимаясь спиной к стене. Камень был ледяным, но она не замечала. Сердце колотилось, как бешеное. Не просто быстро — рвано. С перебоями.

— Кто здесь?

Тени в углу комнаты начали сгущаться, образуя силуэт. Высокий, стройный, с крыльями — но не чёрными, как у Элиана. Эти крылья были светлыми, почти белыми, с холодным серебряным отливом. От них исходил свет — колючий, как зимнее солнце. Свет, который не грел, а обжигал. Свет, от которого хотелось зажмуриться.

Перед ней стоял ангел. Настоящий ангел. Не из снов, не из видений — из плоти и света. И от этого было ещё страшнее.

— Я тот, кто пришёл за ним, — сказал он. Его голос был ровным, холодным, без тени эмоций.

Так говорит палач, — мелькнуло у неё в голове. — Не враг. Палач.

Морана сжалась, но не отвела взгляд. Ноги дрожали, но она заставила себя стоять.

— Его здесь нет.

— Лжёшь, — сказал ангел. — Мы чувствуем его присутствие. Он прорастает в тебе, как сорняк. Как болезнь, которую не вылечить. Мы вырвем его с корнем.

Он шагнул к ней, но Морана не дрогнула. Только пальцы сами собой сжались в кулаки.

— Ты не знаешь его.

— Знаю, — ответил он. — Я был его братом. Я видел его

падение. Я стоял и смотрел, как он летел вниз. И я видел, кем он стал после.

Он поднял руку, и свет его крыльев стал ярче, обжигая кожу. По рукам Мораны побежали мурашки — не от холода, а от этого света. Он проникал под кожу, как будто хотел что-то найти. Морана зажмурилась, чувствуя, как тьма внутри неё начинает сопротивляться. Не просто шевелиться — вставать на дыбы. Как зверь, которого разбудили.

А затем — всё погасло.

Мощный порыв воздуха пронёсся по подвалу, задувая остатки свечей, опрокидывая кувшин с водой, и она услышала его голос — холодный, как сталь, но короткий, почти приказной:

«Уходи».

В следующий миг наступила тишина. Только она и холод. И вода, которая медленно впитывалась в каменный пол.

Она пришла в себя в темноте. Свечи снова горели, но слабо, как будто их только что зажгли. Как будто кто-то позаботился о том, чтобы она не осталась во тьме. Она не помнила, как он ушёл. Она не помнила, как они расстались. Она помнила только свет его крыльев — и его голос, который звучал устало, почти разбито. Как будто каждая встреча с братом отнимала у него частицу силы.

«Спи. Я расскажу тебе всё».

Она слышала это — и не поверила. Не потому, что он

лгал. А потому, что в его голосе впервые за всё время не было холода. Только усталость. Бесконечная, древняя усталость, которая копилась не дни — тысячелетия. Он не приказывал. Он просил. И от этого ей стало страшнее, чем от любого его приказа.

Она попыталась заснуть, но сон не шёл. Она лежала на лежанке, глядя в тёмный потолок, и чувствовала, как внутри неё пульсирует тревога. Глухо. Ритмично. Как второе сердце. Она переворачивалась с боку на бок, но холод и камень не давали ей забыться. Солома колола щёку. Платье прилипло к влажной коже.

Где-то вверху скрипнула дверь. Послышались шаги — медленные, тяжёлые. Священник. Она уже выучила его походку.

Она замерла.

Дверь в подвал открылась, и на пороге появился он. В руках держал свечу и книгу. Его лицо было бледным, осунувшимся. За эти три дня он постарел на годы.

— Ты не спишь, — сказал он, и это был не вопрос.

— Я пытаюсь, — ответила она.

Он спустился по лестнице, сел на стул у стола и положил книгу перед собой. Свеча освещала его лицо, делая его старше и суровее. Тени залегли под глазами, в складках рта.

— Я хочу поговорить с тобой, — сказал он.

— О чём?

— О нём. О том, кто приходит к тебе во сне.

Морана сжала пальцы в кулак, но не отвела взгляд.

— Я не знаю, о ком ты говоришь.

— Ты знаешь, — сказал он, и его голос стал твёрже. — Ты видишь его каждую ночь. Ты чувствуешь его присутствие здесь, в этом подвале. Я сам чувствую его. Он здесь, даже когда его нет. Не отрицай этого.

Она молчала, чувствуя, как его слова проникают под кожу. Как занозы. Мелкие, но болезненные.

— Я не хочу причинять тебе боль, — сказал он, и его голос смягчился. На секунду. Только на секунду. — Я хочу помочь тебе. Но я не могу помочь тебе, если ты не говоришь мне правду.

— Я не знаю, что он такое, — сказала она наконец. — Я не знаю, почему он приходит ко мне. Я не знаю, что ему нужно.

Священник смотрел на неё долго, пристально.

— Он когда-нибудь говорил тебе, что он хочет?

— Он говорит, что я должна вспомнить. Что я была там, когда он падал.

Священник нахмурился. Его брови сошлись в одну линию.

— Что ты должна вспомнить?

— Я не знаю, — сказала она, и в голосе её послышалось отчаяние. Настоящее. Не наигранное. — Я не знаю, что он имеет в виду.

Священник покачал головой.

— Он не говорит тебе всей правды. Он говорит только то,

что хочет, чтобы ты знала. Он манипулирует тобой.

Она почувствовала, как внутри поднимается злость. Горячая. Почти раскалённая.

— А ты говоришь мне правду?

Священник замер. Его лицо стало жёстче. Как будто она ударила его — и попала.

— Я говорю тебе то, что знаю.

— Тогда скажи мне, — сказала она, и голос её стал твёрже.

Кулаки сжались так, что ногти оставили следы на ладонях.

— Что ты знаешь о нём? О его падении? О его брате?

Священник долго молчал. Он смотрел на книгу, потом на неё. Казалось, он решал — говорить или нет.

— Я знаю, что он был одним из тех, кого мы называем стражами. Он был близок к свету. Но он предал его. Он возжелал запретного знания. Он пытался проникнуть за пределы, которые не должен был пересекать. И за это его изгнали. Столкнули. Свои же.

— Это то, что говорится в книгах?

— Это то, что я знаю, — сказал он. — И я знаю, что если он с тобой — это не просто так. Он хочет использовать тебя. Он хочет войти в этот мир через тебя. Сделать тебя дверью.

Она чувствовала, как его слова бьют по ней, как камни. Каждое — удар. Каждое — синяк.

— Ты не знаешь его, — сказала она тихо.

— Я знаю достаточно, чтобы понять: он опасен.

Священник закрыл книгу, поднялся и направился к две-

ри.

— Отдыхай, — сказал он, не оборачиваясь. — Завтра тебя ждёт трудный день.

Дверь закрылась, оставляя её одну.

Она осталась в темноте, чувствуя, как его слова отдаются в груди. Как эхо. Как пульс. Она знала, что он говорил не всё. Но она также знала, что Элиан говорил ей не всё.

И это было самое страшное. Не знать, кому верить. И знать, что оба что-то скрывают.

Она легла на лежанку, глядя в потолок, пытаюсь успокоить дыхание. Время тянулось медленно. Как вода, которая капает с потолка — капля за каплей, и каждая следующая падает через вечность. Где-то вверху скрипнула половица. Где-то за стеной капала вода. Она считала удары своего сердца, пытаюсь заснуть.

Прошёл час. Может быть, больше. Она не знала. Время в подвале больше не имело смысла.

Она уже почти провалилась в сон, когда услышала шаги — снова. Тяжёлые, медленные, но теперь в них была решимость. Не просто шаги — поступь.

Дверь в подвал открылась, и на пороге снова стоял священник. Но на этот раз он был другим. В руках он держал другую книгу — старую, в потёртом кожаном переплёте, с медными застёжками. Его лицо было бледным, а глаза горели лихорадочным светом. Не просто горели — пылали.

Он спустился по лестнице, не говоря ни слова, и поставил книгу на стол. Свеча осветила страницы, исписанные древними символами. Знаки были незнакомыми, но от них веяло силой.

— Я не могу ждать до завтра, — сказал он, и голос его дрожал, но был твёрже, чем раньше. — Ты должна избавиться от него. Сейчас.

Морана приподнялась на лежанке, чувствуя, как холод разливается внутри. Не его холод — её собственный. Страх.

— Что ты собираешься делать?

— Я буду молиться, — сказал он, открывая книгу. — Я изгоню его из твоей души.

— Ты не можешь изгнать того, кто не причиняет мне зла.

— Ты не знаешь, что он делает с тобой, — сказал он, и его голос стал требовательным. — Но я знаю. Я видел это раньше. Он не оставит тебя, пока ты не позволишь ему полностью войти в тебя. А тогда уже будет поздно. Тогда ты перестанешь быть собой.

Он начал читать. Слова были древними, тягучими, как мёд. Но мёд этот был отравлен. Они текли, заполняя пространство, и каждый звук был как колокол, который бил по воздуху. По стенам. По её костям.

Морана почувствовала, как внутри неё что-то сжалось. Не боль — а сопротивление. Что-то, что не хотело, чтобы эти слова касались её. Что-то, что вставало на дыбы.

— Прекрати, — сказала она, и голос её дрогнул.

Священник не остановился. Он читал громче, настойчивее, и его голос метался по стенам подвала. Отскакивал от камня, возвращался, бил с новой силой.

Внезапно она почувствовала холод. Он коснулся её затылка, её рук, её груди. Знакомый холод. Его холод. Она не видела его, но чувствовала — он рядом.

«Он пытается изгнать меня», — сказал Элиан, и его голос звучал глухо, как будто он был далеко. Как будто между ними выросла стена.

— Что мне делать? — прошептала она.

«Ничего. Не сопротивляйся. Это пройдёт».

Священник подошёл ближе, и его голос стал требовательным, почти угрожающим. Крест в его руке дрожал, но не от слабости — от напряжения.

— Я заклинаю тебя, дух тьмы, — сказал он, поднимая крест, — именем света я повелеваю тебе покинуть эту женщину. Изыди. Уйди. Оставь её.

Морана почувствовала, как тьма внутри неё вспыхнула, как угли. Как костёр, в который плеснули масла. Она не видела его, но чувствовала — он рядом. Совсем близко. На расстоянии дыхания.

«Ты должна выдержать», — сказал он. И в его голосе ей почудилась мольба.

Священник продолжал молиться, и его голос становился всё более пронзительным. Слова сплетались в цепь, которая душила воздух. Морана зажмурилась, чувствуя, как холод

внутри неё начинается таять, но не исчезать. Не уходить. Прятаться.

Когда он закончил, он опустил крест. Его лицо было покрыто потом, руки дрожали. Книга захлопнулась сама, как будто устала.

Он смотрел на неё, и в его глазах была тревога. И что-то ещё. Разочарование? Страх? Она не могла понять.

— Он не ушёл, — сказал он, и в голосе его звучала пустота. — Я чувствую его. Он всё ещё здесь. Он вцепился в тебя, как корень в землю.

— Нет, — сказала она, открывая глаза. — Он здесь. Он всегда здесь. И он не уйдёт.

Священник покачал головой, глядя на книгу, как будто она предала его.

— Я сделал всё, что было в моей власти, — сказал он, закрывая книгу. — Если ты сама не захочешь избавиться от него — никто не сможет тебе помочь. Даже Бог.

Он повернулся и медленно пошёл к двери. Дверь закрылась. Шаги затихли.

Морана осталась одна.

Она не знала, сколько проспала. Когда она открыла глаза, света было больше — узкая щель в стене пропускала бледный утренний свет. Серый. Нерадостный. Но это был свет. Третий день.

Она сидела на лежанке, чувствуя, как холодный камень

впитывает тепло её тела. Как будто сам подвал хотел забрать её последнее тепло. Где-то вверху слышались голоса — приглушённые, тревожные. Готовились к чему-то. К ней.

Дверь открылась. Вошёл священник. Его лицо было ещё бледнее, чем вчера, а под глазами залегли тени. Глубокие. Почти чёрные.

— Сегодня суд, — сказал он, и голос его звучал пусто. Как колокол без языка. — Я сделал всё, что мог. Остальное — не в моей власти.

Она подняла голову.

— Что будет со мной?

— Если ты не отречёшься от него — тебя осудят как ведьму. Сожгут на площади.

Она сжала пальцы в кулак. Ногти упёрлись в старые ранки.

— А если я отрекусь?

— Тогда ты будешь свободна. Но я должен быть уверен, что он ушёл.

Она опустила глаза. Она знала, что не может отречься от него. Но она также знала, что должна выжить. Должна была. Потому что он просил её об этом.

Она вспомнила его слова во сне: «Ты должна выжить. Даже если ты будешь ненавидеть меня. Даже если ты будешь думать, что я предал тебя».

— Я скажу то, что нужно, — сказала она тихо.

Священник посмотрел на неё с сомнением. С недоверием. Но и с надеждой.

Через час её вывели из подвала на площадь. Свет ударил в глаза — она зажмурилась, прикрывая лицо рукой. Три дня в полутьме, и теперь солнце казалось врагом. Народ стоял молча, глядя на неё с тревогой и любопытством. Сотни глаз. Сотни лиц. И ни одного доброго. Они пришли смотреть, как будут судить ведьму. Они уже всё решили. В центре возвышался деревянный помост. На нём — стол, книга, крест. И трое судей в чёрных рясах.

Её подвели к краю помоста. Пальцы сами собой вцепились в грубую ткань платья. Она думала о том, что должна сказать. О том, что он просил её выжить. Но слова отречения застревали в горле, как кость. Как можно отречься от того, кто стал частью тебя? Как можно сказать «я не хочу его» — когда каждую ночь она ждала его голоса?

Толпа загудела. Кто-то выкрикнул: «Ведьма!» И этот крик подхватили ещё несколько голосов. Её сердце колотилось так, что она едва слышала судью.

Судья поднял книгу и спросил громко:

— Ты признаёшь, что связана с падшим духом?

Морана подняла голову и посмотрела на небо. Оно было серым, холодным. Бескрайним. Равнодушным. Где-то там, в вышине, она чувствовала его присутствие. Он ждал. Он знал. Он тоже боялся.

А потом она опустила взгляд — и увидела его.

Рафаэль стоял позади священника. Там, где только что ни-

кого не было. Высокий, с серебряными крыльями, которые никто, кроме неё, не видел. Свет от них был холодным, как в том подвале, но теперь он не обжигал — он наблюдал. Его лицо было спокойным, почти доброжелательным. И он смотрел прямо на неё.

«Давай, — прошептал он одними губами. — Сделай это. Освободи себя. Освободи его».

Никто, кроме неё, не слышал. Никто не видел, как его крылья едва заметно дрогнули. Священник стоял спиной к нему и не подозревал, что ангел здесь — в двух шагах от него.

Она вспомнила его голос в темноте подвала:

«Ты должна выжить. Даже если ты будешь ненавидеть меня. Даже если ты будешь думать, что я предал тебя».

Она сделала глубокий вдох. Воздух был холодным, но она заставила себя дышать.

— Я признаю, что видела его во сне, — сказала она, и голос её дрогнул. — Но я не звала его. И я не хочу, чтобы он был рядом. Я отрекаюсь от него.

Слова упали в толпу, как камни в воду. Круги пошли — широкие, длинные. Шёпот. Вздохи. Чей-то приглушённый вскрик.

Вокруг неё пронёсся шёпот. Священник вышел вперёд и посмотрел на неё долгим, пристальным взглядом.

— Ты говоришь это, потому что боишься смерти? — спросил он. — Или потому что действительно хочешь изба-

виться от него?

Морана встретила его взгляд. Она знала, что он проверяет её. Знала — и всё равно не отвела глаз.

— Я говорю это, потому что я хочу жить, — сказала она твёрдо. Голос не дрогнул. Ни на слог. — Я не хочу быть его дверью в этот мир.

Священник подошёл ближе и взял её за руку. Его пальцы были холодными. Как у мертвеца.

— Тогда я проверю тебя, — сказал он. — Если он действительно ушёл — ты не почувствуешь боли. Если он всё ещё внутри тебя — ты закричишь. И тогда я не смогу тебя спасти.

Он поднял крест и прикоснулся им к её ладони. Металл был ледяным — но это был не его холод. Это был холод испытания.

Морана почувствовала, как холод пронзил её руку, но боли не было. Тьма внутри неё затаилась. Сжалась. Ушла вглубь. Она стояла неподвижно, глядя на священника. Ни крика. Ни стоны. Ни единой слезинки.

Он ждал. Толпа замерла. Даже ветер стих.

Прошло несколько мгновений. Она не кричала. Она не отёрнула руку. Только пальцы чуть дрогнули — но этого никто не заметил.

Священник опустил крест. Его лицо было бледным, но в глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. На признание. На прощение.

— Он ушёл, — сказал он тихо, поворачиваясь к судье. — Она чиста.

Судья кивнул. Медленно. Торжественно.

— Тогда ты свободна. Но если он вернётся — ты будешь сожжена.

Её отвели с помоста. Она шла, чувствуя, как дрожат ноги, как сердце колотится в груди. Каждый шаг давался с трудом. Она не оборачивалась. Она знала, что если посмотрит назад — увидит его тень. А если увидит — не сможет уйти.

Но она всё же посмотрела. Всего на секунду. Через плечо. Рафаэль всё ещё стоял позади священника. Он смотрел на неё, и на его лице была улыбка — мягкая, почти отеческая. Он кивнул. Медленно. Одобрительно.

«Ты молодец, — прозвучало у неё в голове. Его голос не был похож на голос Элиана — он был светлее, чище, и от этого ещё страшнее. — Ты сделала всё, чтобы избавиться от него. А теперь — мы поможем тебе. Осталось совсем немного. Он больше не будет тебя беспокоить».

И в этот момент она поняла: она совершила ошибку.

Не маленькую. Не поправимую. Огромную. Непоправимую. Она посмотрела на священника, который всё ещё держал крест, на судью, который закрывал книгу, на толпу, которая начинала расходиться. Они все думали, что она отреклась от демона. Но она отреклась не от демона. Она отреклась от того, кто просил её выжить. А теперь тот, кто называл себя его братом, стоял и улыбался ей, как лучшей ученице.

Холод, который она чувствовала в ладони от креста, теперь разливался по всему телу. Не его холод. Её собственный.

Она вышла за ворота церкви и остановилась. Ветер коснулся её лица. Первый свободный ветер за три дня. Она была свободна. Формально. На бумаге. Для них.

Но в груди пульсировала тишина. Не пустота — тишина. Он был там. Где-то глубоко.

— Ты здесь? — прошептала она.

Ответа не было.

«Что я наделала?» — подумала она, и от этой мысли её затошнило.

Она сжала руки в кулак и пошла вперёд. Ноги сами несли её — прочь от церкви, прочь от площади, прочь от Рафаэля, прочь от всего.

«Ты выжила», — услышала она его голос, далёкий, но тёплый. Усталый. Но живой.

«Но какой ценой? — хотелось крикнуть ей. — Какой ценой, Элиан? Ты же говорил мне, что в стенах этой церкви я всё вспомню. Что это место поможет мне. Но я вспомнила лишь маленькую часть — реку, смех, твоё лицо. И что теперь? Теперь тебя почти нет. Я почти тебя не чувствую. Ты исчезаешь — а этот ангел улыбается так, будто я сделала всё правильно. Что я наделала?»

Она прижала ладонь к груди. Тьма внутри ещё была — но слабая, приглушённая, как уголёк, который залили водой.

Она ещё тлела, но уже не грела. И от этого было страшнее, чем от полной пустоты.

Она не знала, когда увидит его снова. Но она знала одно: она не предала его. Она сделала то, что он просил. Она выжила.

И теперь она должна была исправить то, что только что совершила.

Глава 7

Она вышла за ворота церкви и остановилась.

Сердце колотилось. Ноги дрожали. В груди пульсировало странное чувство — она была свободна, но вокруг неё царил тишина. Не та тишина, что бывает после бури — а та, что наступает, когда теряешь что-то важное и ещё не знаешь, что именно.

Она перевела дыхание и посмотрела на небо. Серое, низкое. Такое же, как в её снах. Только теперь оно не обещало ничего. В городе было сыро и тихо.

Она знала одно: она хотела домой. К матери. К Лив. К тем, кто ждал её. К тем, ради кого она произнесла эти слова на площади.

Она пошла по знакомым улицам, чувствуя, как каждый шаг отдаётся в груди. Гулко. Тяжело. Как будто она шла не по мостовой, а по собственному сердцу. Люди провожали её взглядами, но никто не заговаривал. Она была свободна, но чувствовала себя чужой. Чужой среди тех, кто ещё вчера кричал «Ведьма!» и готов был смотреть, как она горит.

Когда она отошла от церкви на достаточное расстояние, она остановилась, закрыла глаза и прошептала:

— Элиан... Я не предала тебя. Я сделала то, что ты просил. Но я почти тебя не чувствую. Ты ещё здесь?

Тишина.

— Ответь мне. Пожалуйста.

Ничего.

Она открыла глаза. В груди похолодело. Не от ветра — от того, что внутри неё больше ничего не отзывалось. Она не чувствовала его. Не слышала его. Только своё дыхание и ветер, который трепал её волосы. Ветер, который ничего не знал и ничего не обещал.

Она отреклась от него. Она произнесла эти слова на суде, перед всеми. Перед священником. Перед судьёй. Перед Рафаэлем, который улыбался ей, как лучшей ученице. И теперь его не было.

Она сглотнула комок, который стоял в горле с самой площади, и пошла дальше, чувствуя, как внутри разливается пустота. Не та пустота, что оставляет место для нового — а та, что забирает всё.

Дом встретил её тишиной. Но это была другая тишина — живая, тёплая, пахнувшая травами и дымом. Лив сидела на лавке у окна и, увидев её, вскочила. Так резко, что опрокинула корзину с шерстью.

— Морана...

Она шагнула к ней и обняла так крепко, что Морана почувствовала, как дрожит сестра. Мелкой, частой дрожью — как замёрзший воробей.

— Я думала, они убьют тебя, — прошептала Лив. Голос её сорвался на последнем слове.

— Я здесь, — ответила Морана. — Я вернулась.

Из комнаты вышла мать. Она была бледной и выглядела старше, чем несколько дней назад. Болезнь не уходила — она просто ждала, когда можно будет снова напомнить о себе. Но когда она увидела Морану, она улыбнулась. Улыбка была слабой, но настоящей.

— Дочка...

Морана шагнула к ней и обняла. Осторожно, боясь сделать больно. Тело матери было хрупким, почти невесомым — как будто болезнь уже забрала большую часть её, оставив только оболочку.

— Я дома, — сказала она. — Всё позади.

Она чувствовала тепло рук матери, слышала её дыхание. Неровное, с присвистом. Каждый вдох давался ей с трудом. Но в груди пульсировала пустота — там, где раньше был его голос. Там, где он жил эти три дня в подвале. Там, где он обещал рассказать ей всё.

Она не знала, вернётся ли он. Не знала, захочет ли он возвращаться к той, кто отреклась от него перед целым городом.

Дни тянулись медленно. Как вода, которая капает с крыши после дождя — капля за каплей, и каждая следующая падает через вечность.

Морана пыталась жить как раньше. Она вставала, помогала матери по дому, сидела с Лив у очага, даже выходила на улицу — но всё было не так. Город казался чужим, как будто

она смотрела на него сквозь мутное стекло. Люди смотрели на неё с опаской, отводили глаза, перешёптывались за спиной. А в груди пульсировала тишина. Плоская. Безжизненная. Как затянувшаяся рана, которая уже не болит, но и не заживает.

Она больше не рисовала.

Первые два дня она даже не прикасалась к углю. Она смотрела на чистый лист пергамента, но рука не поднималась. Как будто между ней и бумагой выросла невидимая стена. Она боялась, что если начнёт рисовать — ничего не выйдет. Что линии будут пустыми. Что он ушёл навсегда.

Лив заметила это.

— Ты перестала рисовать, — сказала она однажды вечером, когда они сидели вдвоём. В очаге догорал огонь, и тени плясали на стенах — но теперь они были просто тенями.

Морана не ответила.

— Ты скучаешь по нему?

Морана подняла голову. Вопрос ударил точнее, чем она ожидала.

— По кому?

— По тому, кого ты видела во сне. Ты шепчешь его имя. Я слышала. Ночью. Ты звала его — и просыпалась от собственного голоса.

Морана сжала пальцы в кулак. Старые ранки от ногтей ещё не зажили — она почувствовала, как одна из них открылась.

— Я не знаю, скучаю ли я. Я просто... не могу дышать, когда его нет. Это другое.

Лив долго молчала, глядя на неё. Потом тихо сказала:

— Ты боишься, что он не вернётся.

— Я боюсь, что он вернётся — и увидит, что я отреклась от него перед всем городом.

Лив накрыла её руку своей. Ладонь была тёплой и немного влажной — она только что мыла посуду.

— Ты отреклась, чтобы выжить. Он знает это. Он же просил тебя.

Морана подняла глаза. В них стояли слёзы — не горя, а какой-то странной, обречённой благодарности.

— Откуда ты знаешь, о чём он просил?

— Потому что если бы он хотел, чтобы ты умерла — ты бы не стояла здесь сейчас.

На третью ночь она проснулась от странного ощущения. Не от звука — от его отсутствия. Весь дом замер, даже ветер за окном стих.

Она открыла глаза. В мансарде было темно, но ей казалось, что кто-то стоит у её кровати. Она не видела его, но чувствовала знакомый холод. Тот самый. Его холод. Слабый, почти неосязаемый — но он был.

— Ты здесь? — прошептала она.

Тишина.

Она села на постели, вглядываясь в темноту. Никого.

Только старые тени в углах, только половицы, которые не скрипели.

Она уже хотела снова лечь, когда заметила на столе что-то. Она подошла ближе и увидела — на чистом листе пергамента проступала тонкая, почти невидимая линия. Не нарисованная — проступившая. Как будто уголь сам оставил след.

Она не рисовала её. Но она была здесь.

Уголь, лежащий рядом, был сдвинут. Совсем чуть-чуть — но она помнила, как оставила его.

Морана провела пальцем по линии — она была тёплой. Не нагретой — именно тёплой. Живой.

— Ты вернулся, — прошептала она. И в этот раз это был не вопрос. Она не знала, слышит ли он её. Но линия на пергаменте была доказательством. Достаточным. Единственным.

Ответа не было. Но теперь ей и не нужны были слова.

На следующее утро она подошла к столу и взяла уголь.

Она не знала, что нарисует. Она просто позволила руке вести себя. Как раньше. Как в те ночи, когда он ещё говорил с ней.

На бумаге проступил силуэт. Знакомый. Чёрный. С крыльями. Крылья были не такими, как прежде — линии слабее, тени бледнее. Но они были.

Она смотрела на рисунок, и в груди разливалось странное тепло. Не его тепло — её собственное. Но оно было связано

с ним.

— Я знаю, что ты здесь, — сказала она в пустоту. — Ты не ушёл.

И хотя ответа не было, она чувствовала — он рядом. Как эхо. Как тень. Как обещание, которое ещё не исполнилось.

Она снова начала рисовать.

Не сразу. Сначала она просто смотрела на уголь, который лежал на столе, и ждала. Ждала, что он снова поведёт её рукой, как раньше. Но уголь оставался неподвижным. Не как мёртвый — как затаившийся.

Тогда она взяла его сама.

Она провела первую линию — робко, почти боязливо. Как будто ступала на лёд, который мог треснуть. Потом ещё одну. И ещё. Она не знала, что рисует, пока силуэт не начал проступать на бумаге. Знакомые очертания. Плечи. Крылья. Тёмный контур, который она узнала бы среди тысячи.

Она рисовала его.

Когда она закончила, она отложила уголь и посмотрела на рисунок. Он был почти живым — крылья дышали, тени струились по краям. Она коснулась пальцами линии, чувствуя, как бумага теплеет под ними. Или это пальцы теплели — она не знала.

— Ты смотришь на меня? — прошептала она.

Тишина. Но тишина была не пустой. Она была наполненной — как воздух перед грозой, как пауза между вопросом

и ответом.

Она не знала, когда он вернётся. Не знала, сможет ли она когда-нибудь снова его увидеть. Но пока она могла рисовать — он был с ней. В каждой линии. В каждой тени. В каждом вздохе, который она делала, склоняясь над пергаментом.

Лив вошла в мансарду без стука. Она всегда так делала — не из дерзости, а потому что боялась, что если постучит, ей не ответят.

— Морана, ты уже встала? — спросила она, но замерла на пороге, увидев рисунок.

— Это он? — тихо спросила она, подходя ближе. Её глаза расширились — не от страха, а от узнавания.

Морана не ответила, но Лив и так знала ответ.

— Ты рисуешь его снова, — сказала она, и в голосе её не было страха. Только любопытство. И что-то ещё — облегчение? Надежда?

— Я снова могу, — сказала Морана. — Это главное.

Лив посмотрела на рисунок, потом на сестру.

— Ты скучала по нему?

Морана сжала уголь в пальцах. Чёрная пыль осталась на коже, въелась в трещинки.

— Я боялась, что он ушёл навсегда.

Лив накрыла её руку своей. Её ладонь была тёплой и немного влажной — она только что мыла посуду.

— Он не ушёл, — сказала она. — Я же вижу.

Морана посмотрела на рисунок, который держала в руках, и почувствовала, как тепло разливается внутри. Медленно, неспешно — как вода, которая наконец нашла путь.

— Я хочу найти его, — сказала она. — Я хочу знать, где он.

Лив кивнула, хотя в её глазах мелькнула тревога. Та самая, которая появлялась каждый раз, когда Морана говорила о том, чего Лив не понимала.

— Тогда ищи. Я пойду с тобой.

Но в тот же вечер всё изменилось.

Матери стало хуже.

Она не могла встать с постели. Боль пронзала её грудь при каждом движении, и даже дыхание стало тяжёлым, как будто внутри неё что-то росло, сжимало лёгкие, забирало жизнь. Каждый вдох был хриплым, как будто воздух проходил сквозь трещины.

Морана сидела у её постели, держа за руку, и чувствовала, как та худеет с каждым днём. Не просто худеет — уходит. Как вода, которая просачивается сквозь пальцы. Она видела, как мать пытается улыбнуться, но улыбка получается слабой, почти неживой. Тенью улыбки.

— Мама, — прошептала она, — я найду лекаря. Я приведу того, кто сможет тебя вылечить.

Мать покачала головой, и её голос был едва слышен:

— Не нужно, дочка. Я знаю, что это такое. Это не лечится.

Морана сжала её руку, чувствуя, как внутри всё обрывается. Не просто падает — рушится.

— Я не могу потерять тебя.

Мать улыбнулась, и в её глазах мелькнула та же тёплая мудрость, что была всегда. Та, что говорила: я прожила свою жизнь, теперь живи ты.

— Ты не потеряешь меня. Я всегда буду с тобой.

Морана не ответила. Она просто сидела рядом, чувствуя, как тепло её руки постепенно уходит, как песок сквозь пальцы. Медленно. Неотвратно. Как всё в этом доме.

Прошла ещё одна неделя.

Мать почти не вставала. Она спала большую часть дня, просыпаясь только на короткое время, чтобы выпить несколько глотков воды и улыбнуться дочерям. Но улыбка становилась всё слабее, а глаза — всё глубже. Как будто она уже смотрела откуда-то издалека.

Морана не отходила от неё. Она сидела у постели, держа её руку, и чувствовала, как та становится всё тоньше, как кости проступают под кожей. Как будто тело матери медленно возвращалось к земле.

— Ты должна поесть, дочка, — сказала мать однажды утром, едва разлепляя глаза. — Ты худеешь.

— Я не голодна, — ответила Морана.

— Ты всегда так говоришь. Но я знаю, что ты не ешь, чтобы оставить больше нам.

Морана опустила голову, не в силах ответить. Потому что это было правдой.

Мать взяла её за руку и сжала с неожиданной силой. В её пальцах ещё оставалась жизнь — упрямая, не желающая уходить.

— Ты должна обещать мне кое-что, — сказала она, и в голосе её послышалась сталь, которой в нём не было уже давно.

— Что?

— Когда меня не станет, ты не будешь сидеть здесь и жалеть себя. Ты будешь жить. Ты пойдёшь по своему пути. Ты найдёшь его, если он твой.

Морана почувствовала, как слёзы снова подступили к глазам. Горячие. Неостановимые.

— Я не хочу говорить об этом.

— А я не хочу умирать, — сказала мать, и её голос дрогнул впервые за всё время. — Но это не зависит от нас, дочка. Я прожила свою жизнь. Ты проживаешь свою. И я хочу знать, что ты проживёшь её так, как хочешь ты, а не так, как кто-то другой решил за тебя.

Морана сжала её руку и прошептала:

— Я обещаю.

Мать улыбнулась — светло, почти по-прежнему — и закрыла глаза. Не навсегда. Пока — только на ночь. Но Морана знала, что скоро наступит утро, когда она уже не откроет их.

На следующее утро Морана проснулась от тишины.

Не от кашля. Не от дыхания. От тишины. Той самой, которую она боялась больше всего.

Она вскочила и подбежала к постели матери. Мать лежала неподвижно, её лицо было спокойным, руки сложены на груди. Она больше не дышала. Больше не кашляла. Больше не улыбалась.

Морана опустилась на колени, прижалась лбом к её руке и не издала ни звука. Кричать не было сил. Плакать — тоже. Только пустота — огромная, бескрайняя, как то поле из её сна.

Только слёзы текли по её щекам, тихо и без остановки.

Лив вошла в комнату и замерла на пороге. Она посмотрела на мать, потом на Морану, и поняла всё без слов. Поняла — и не закричала. Только побледнела так, что веснушки на носу стали почти чёрными. Она опустилась рядом с сестрой и обняла её.

— Мы справимся, — прошептала она. Голос дрожал, но не сломался.

Морана не ответила. Она просто сидела, чувствуя, как мир вокруг неё рушится. Не с грохотом — тихо. Так тихо, что никто, кроме неё, не слышал. Так тихо, как умирает последний уголёк в очаге — без треска, без пламени, просто гаснет.

Похороны прошли тихо.

Без священника, потому что Морана не хотела видеть его.

Не после того, что он сделал. Не после того, как он держал крест и верил, что изгоняет демона. Без пышных речей, потому что мать не любила шума. Только они с Лив, старый погост и холодный ветер. Ветер, который пах зимой, хотя зима ещё не наступила.

Морана стояла у могилы, глядя на серое небо, и чувствовала, как внутри неё разливается пустота. Она не плакала. Она просто стояла, чувствуя, как ветер касается её лица, и не могла понять, как можно жить дальше, когда такая тишина поселилась в груди. Тишина на двоих. Одна — от матери. Другая — от него.

Лив стояла рядом, держа её за руку, и тоже молчала. Они обе знали, что слова сейчас бесполезны. Слова были бесполезны всегда — они обе выучили это рано.

Дни после похорон были самыми тяжёлыми.

Не потому, что горе было слишком острым, а потому, что оно оказалось невыносимо будничным. Нужно было вставать, нужно было готовить еду, нужно было выходить за водой, нужно было думать о том, что делать дальше. Горе не давало передышки — оно вплеталось в каждое движение, в каждый вздох.

Морана сидела у очага, глядя на огонь, и чувствовала, как ответственность медленно, но верно оседает на её плечах. Тяжёлая. Холодная. Она теперь была старшей. Она теперь была за всё в ответе.

Она посмотрела на полку, где раньше стояли травяные сборы матери. Теперь они почти закончились. Осталось несколько пучков — на пару настоев, не больше. Она посмотрела на мешок с мукой — он был почти пуст. На дне — горсть, из которой не испечь даже одной буханки. Зима приближалась, и холод уже начинал проникать в щели старого дома. Сквозняки пели свои песни, и песни эти не обещали ничего хорошего.

Она провела рукой по лицу, чувствуя, как усталость разливается по телу. Не та усталость, что проходит после сна, — та, что въедается в кости.

— Морана? — Лив вошла в комнату и остановилась, увидев её лицо. — Что случилось?

Морана подняла голову, и впервые за долгое время в её глазах была не просто печаль, а тревога. Острая. Настоящая. Та, что заставляет действовать.

— У нас нет запасов на зиму, — сказала она, и голос её звучал ровно, почти безжизненно. — Мука почти кончилась. Травы тоже. Если мы не найдём способ заработать — мы не переживём холода.

Лив подошла ближе и села рядом. Она взяла Морану за руку и сжала её. Её пальцы были холодными — в доме давно не топили как следует.

— Мы справимся, — сказала она, но в голосе её не было уверенности. — Ты что-нибудь придумаешь. Ты всегда придумывала.

Морана сжала её руку в ответ, но не улыбнулась.

— Я не знаю, что делать, — призналась она тихо. — Я не знаю, как прокормить нас. Я не знаю, как смотреть вперёд, когда всё, что я вижу, — это пустота. Пустота в кладовой. Пустота в кошельке. Пустота внутри.

Лив обняла её, и Морана почувствовала, как та дрожит. Не от холода — от того же страха, который грыз и её.

— Мы вместе, — сказала Лив. — Мы справимся, даже если я не знаю как.

Они сидели так долго, глядя на огонь, который догорал в очаге. Языки пламени становились всё меньше, съеживались, как осенние листья.

Морана понимала, что не может позволить себе сдать. Она должна была найти способ. Она должна была выжить. И она должна была позаботиться о Лив. О Лив, которая верила в неё. О Лив, которая всё ещё ждала, что старшая сестра придумает выход.

Но где-то в глубине души она знала — чтобы выжить, ей нужна была не только еда. Ей нужен был смысл. Ей нужен был он. Его голос. Его присутствие. Его обещание, которое он так и не сдержал.

Глава 8

Она поднялась на мансарду.

На этот раз она не ждала знака. Не ждала, что он поведёт её руку. Она просто взяла уголь и начала рисовать — не его, а то, что она знала: поле, лес, тропинку, ведущую к месту их встречи. Рука двигалась сама — уверенно, без колебаний. Как будто она рисовала этот путь уже сотню раз.

Она рисовала долго, пока на бумаге не проступил путь. Тот самый путь, который она видела во сне и который теперь, она чувствовала, существовал на самом деле. Не просто существовал — ждал. Каждая линия была не просто следом угля, а обещанием. Там, в конце этого пути, что-то было.

Она отложила уголь и посмотрела на рисунок. Он был живым, почти настоящим. Линии тянулись вперёд, как пальцы, зовущие за собой. Как будто сама бумага дышала.

Она чувствовала, что он там, на другом конце этого пути. Он ждал её. Или ей нужно было в это верить — чтобы сделать следующий шаг.

Она взяла рисунок, сжала его в руках и спустилась вниз. Ступени скрипели под ногами — знакомо, привычно. Но сегодня каждый скрип казался громче. Как будто дом тоже чувствовал: что-то должно случиться.

Лив всё ещё сидела у очага. Она подняла голову, когда Морана вошла, и увидела рисунок в её руках. Взгляд её стал

серьёзным — она всё поняла раньше, чем Морана успела что-то сказать.

— Ты решила? — спросила она.

Морана кивнула.

— Я знаю, что должна идти. Я знаю, что мне нужно найти его.

Лив встала и подошла к ней. Её шаги были тихими, но в тишине пустого дома они звучали как приговор.

— Я пойду с тобой.

— Нет, — сказала Морана. Голос прозвучал твёрже, чем она ожидала. — Ты должна остаться. Кто-то должен заботиться о доме. Кто-то должен быть здесь, если мы понадобится. Если я не вернусь — кто-то должен помнить, что мы были.

Лив хотела возразить, но увидела глаза сестры и поняла, что спорить бесполезно. В них было что-то, чего она раньше не видела. Не упрямство — решимость. Не страх — готовность.

— Тогда иди, — сказала она, и голос её дрогнул. — Но обещай мне, что ты вернёшься. Не просто так — вернёшься ко мне.

Морана обняла её. Крепко. Так, что почувствовала каждую косточку на худеньких плечах сестры.

— Обещаю.

На следующее утро она собралась в путь.

Она взяла с собой немного хлеба, воды и рисунок, который вёл её. Хлеб был чёрствым, вода — холодной, рисунок — тёплым. Как будто он хранил тепло её рук. Или чьих-то ещё. Лив стояла на пороге, глядя на неё, и Морана видела, как та сдерживает слёзы. Губы дрожали, но Лив не позволяла себе заплакать. Она хотела, чтобы сестра запомнила её сильной.

— Береги себя, — сказала Лив.

— Береги дом, — ответила Морана.

Она повернулась и пошла по тропинке, ведущей в лес. Первый шаг был самым трудным. Второй — легче. На десятом она уже не считала.

Она не оборачивалась, потому что знала — если обернётся, то может не уйти. Потому что там, на пороге, стояла единственная причина остаться.

Лес встретил её тишиной. Не той, что бывает в доме — живой, с потрескиванием очага и дыханием сестры. Эта тишина была другой. Глухой. Настороженной. Высокие деревья смыкались над головой, пропуская лишь редкие лучи серого света. Воздух пах сырой землёй и прелыми листьями. И чем-то ещё — древним, как будто этот лес помнил времена, когда люди ещё не ходили по его тропам. Где-то вдалеке крикнула птица, и этот звук показался ей странно чужим. Как будто птица кричала не ей, а кому-то другому.

Она шла по узкой тропе, которую сама нарисовала накануне. Странное чувство вело её вперёд — как будто она уже

проходила здесь раньше, хотя знала, что нет. Или проходила — но не в этой жизни. Или проходила — но во сне, который забылся наутро.

Через час пути она остановилась у старого дуба. Его корни выступали из земли, как руки, вцепившиеся в почву. Как будто дерево держалось за землю, боясь, что его вырвут с корнем. Она прислонилась к шершавому стволу и закрыла глаза. Кора была грубой, но прикосновение к ней странно успокаивало. Как будто дуб был единственным, что осталось неизменным в этом мире.

— Я здесь, — прошептала она. — Я иду к тебе. Ты слышишь меня?

Ответа не было.

Только ветер коснулся её лица, но он не принёс ни звука, ни голоса. Только холод. Только одиночество. Только шум листвы, который ничего не значил.

Она открыла глаза и пошла дальше. Потому что стоять на месте было страшнее, чем идти.

К вечеру она вышла к поляне, которую узнала.

Она стояла на краю поля, где земля встречалась с небом, а ветер пах свободой. То самое место, которое она видела во сне. То самое, где он стоял на краю обрыва. Только теперь здесь не было ни обрыва, ни его. Трава была высокой, мокрой от росы, и она ступала по ней, чувствуя, как холод проникает сквозь ткань обуви. Каждый шаг отдавался в ногах

тупой болью — она шла весь день.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.